



Оноре де Бальзак

Темное дело



Перевод с французского
Евгения Гунста

ФТМ



Оноре Бальзак

Тёмное дело

«ФТМ»

1841

Бальзак О. д.

Тёмное дело / О. д. Бальзак — «ФТМ», 1841

Действие романа «Темное дело» происходит в 1803–1806 годах; сцена в салоне княгини де Кадиньян, вписанная в эпилоге, относится к 1833 году. В основу сюжета произведения положен действительный исторический факт: похищение сенатора Клемана де Ри, имевшее место осенью 1800 года. Бальзак использует это происшествие для того, чтобы, как он сам пояснял в предисловии к роману, «изобразить политическую полицию в ее столкновении с частной жизнью, показать всю мерзость ее действий». Важное значение имеет изображенный в романе конфликт между заговорщиками-аристократами, сторонниками династии Бурбонов, и правительством Наполеона I.

© Бальзак О. д., 1841

© ФТМ, 1841

Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Оноре де Бальзак

Тёмное дело

*Господину Маргону, в знак благодарности за гостеприимство
в замке Сашэ.
де Бальзак.*

Часть первая

Неудачи полиции

В 1803 году стояла прекрасная осень – одна из лучших за все первые годы того периода истории, который мы зовем Империей. Выпавшие в октябре дожди оживили луга, и еще в ноябре деревья стояли в пышном зеленом убранстве. Народ уже стал поговаривать о том, что Наполеон, недавно провозглашенный пожизненным консулом, видно, заключил с небесами союз, – в подобных слухах крылась одна из причин его неотразимого обаяния. И странное дело – стоило только в 1812 году солнцу изменить ему, как в тот же день кончились и его удачи. 15 ноября 1803 года, в четвертом часу пополудни, солнце светило ярко, словно осыпало багряной пылью вершины вековых вязов, окаймлявших в четыре ряда длинную аллею барского поместья; под его лучами поблескивали песок и газон огромной площадки, какие можно встретить в деревне, где в старину земля стояла так дешево, что люди позволяли себе роскошь занимать большие участки под парки и цветники. Воздух был до того чист, до того мягок, что все семейство вышло посидеть перед домом, словно летом. Человек в тиковой охотничьей куртке зеленого цвета, с зелеными пуговицами, в таких же штанах, обутый в башмаки на тонкой подошве и тиковые гетры, доходившие ему до колен, чистил карабин с той тщательностью, которая присуща опытным охотникам, когда они предаются этому занятию в часы досуга. Возле него не видно было ни ягдташа, ни дичи – словом, ничего такого, что говорило бы о сборах или о возвращении с охоты, и две женщины, сидевшие рядом, наблюдали за ним, едва скрывая тревогу. Каждый, кто, спрятавшись в кустарнике, наблюдал бы эту сцену, несомненно, содрогнулся бы так же, как содрогались жена и престарелая теща этого человека. Ясно, что никакой охотник не станет столь тщательно готовить оружие, чтобы убить две-три утки, и никто в департаменте Об не воспользуется для этого тяжелым нарезным карабином.

– Ты что – косую подстрелить собираешься, Мишю? – с притворной шутливостью спросила охотника его молодая красавица жена.

Прежде чем ответить, Мишю посмотрел на свою собаку, которая грелась на солнышке, вытянув передние лапы и положив на них морду, в той грациозной позе, в какой обычно лежат охотничьи собаки. Вдруг она подняла голову и стала нюхать воздух, то глядя прямо перед собою в направлении аллеи, тянувшейся на четверть мили, то в сторону поперечной дороги, которая выходила на площадку с левой стороны.

– Не косую, а чудовище, и ни за что не промахнусь, – ответил Мишю. Тут собака, великолепный испанский сеттер, белый в коричневых пятнах, зарычала. – Ну вот и сыщики, – сказал Мишю словно про себя. – Кишмя кишат в окрúге!

Госпожа Мишю скорбно подняла взор к небесам. Это была прекрасная белокурая женщина, сложенная как античная статуя; она была задумчива и сосредоточенна – ее, казалось, томило гнетущее, беспросветное горе. Внешний облик ее мужа мог до известной степени дать основание для тревоги обеих женщин. Законы физиогномики находятся не только в полном соответствии с характером человека, но и с его судьбой. Есть лица как бы пророческие.

Если бы мы располагали точными изображениями людей, кончивших жизнь на эшафоте (а такая живая статистика была бы крайне полезна для общества), то наука, созданная Лафатером¹ и Галлем², безошибочно доказала бы, что форма головы у этих людей – даже невинных – отмечена некоторыми странными особенностями. Да, рок клеймит своей печатью лица тех, кому суждено умереть насильственной смертью. Именно такую печать увидел бы зоркий наблюдатель на выразительном лице человека с карабином. Мишю был толстый коротышка, порывистый и проворный, как обезьяна, хоть и обладал спокойным характером; лицо у него было белое, с красными пятнами, стянутое, как у калмыка, в комок, а рыжие вьющиеся волосы придавали ему зловещее выражение. В прозрачных желтоватых глазах его таилась, точно в глазах тигра, какая-то уходившая внутрь глубина, в которой взгляд смотрящего на него человека тонул, не находя там ни движения, ни тепла. И эти пристальные, лучистые и жестокие глаза в конце концов наводили ужас. Постоянное противоречие между неподвижностью взора и проворством тела еще больше усиливало леденящее впечатление, которое производил Мишю при первой встрече. Живость этого человека должна была служить одной-единственной мысли, подобно тому как у животных вся жизнь бездумно подчинена инстинкту. С 1793 года он отпустил рыжую бороду и носил ее веером. Даже не будь он во время террора председателем Якобинского клуба – одной этой черты его внешности было достаточно, чтобы наводить страх. Эту сократовскую курносую физиономию венчал прекрасный лоб, однако столь выпуклый, что, казалось, он нависает над лицом. Правильно поставленные уши были подвижны, как уши всегда настороженных хищников. Рот, приоткрытый, как нередко бывает у деревенских жителей, обнажал белые, словно миндаль, крепкие, но очень неровные зубы. Его белесое, а местами сизое лицо было обрамлено густыми шелковистыми бакенбардами. Волосы были спереди коротко подстрижены, но отпущены с боков и на затылке; их ярко-рыжий цвет еще сильнее подчеркивал все то причудливое и роковое, что поражало в этом лице. Короткая и жирная шея так и манила к себе меч Правосудия. В тот миг солнце заливало светом эти три фигуры, на которые временами поглядывала собака. Вся эта сцена происходила на великолепном фоне. Площадка находилась на окраине парка в гондревильском поместье – одном из самых живописных во Франции и бесспорно самом богатом в департаменте Об: густые аллеи вязов, замок, построенный по плану Мансара, парк в полторы тысячи арпанов³, обнесенный оградой, девять больших ферм, лес, мельницы и луга. Это прямо-таки королевское поместье до революции принадлежало семье де Симезов. Ксимез – ленное владение, расположенное в Лотарингии. Фамилия Ксимез произносилась «Симез» – и в конце концов так стали ее и писать.

Огромные богатства Симезов, дворянского рода, находившегося на службе у герцогов Бургундских, восходят к тем временам, когда Гизы соперничали с Валуа. Сначала Ришелье, потом Людовик XIV вспомнили, как ревностно Симезы служили мятежному лотарингскому роду, и это послужило причиной их опалы. Тогдашний маркиз де Симез – старый бургиньонец, старый гизовец, старый участник Лиги, старый участник Фронды (он унаследовал кое-какие черты от всех этих четырех восстаний знати против короля) – удалился на покой в Сен-Синь. Изгнанный из луврского дворца, этот вельможа женился на вдове графа де Сен-Синь, отпрыска младшей ветви знаменитых де Шаржбефов, одного из самых знатных родов в старинном графстве Шампань, причем эта младшая ветвь столь же прославилась, как и старшая, а богатством даже превзошла ее. Вместо того чтобы разоряться, оставаясь при дворе,

¹ *Лафатер* Иоганн Каспар (1741–1801) – швейцарский поэт и богослов, автор «Физиогномических фрагментов», в которых он выдвигал ряд ненаучных положений о соответствии склада и черт лица характеру и душевным свойствам человека («физиогномика»).

² *Галль* Франц Иосиф (1758–1828) – австрийский анатом, пытавшийся на основании той или иной формы черепа делать заключения о душевных свойствах и мыслительных способностях человека («френология»).

³ *Арпан* – старинная французская мера площади (около ½ гектара).

маркиз, один из состоятельнейших людей своего времени, построил гондревильский замок, скупил окружающие его поместья и присоединил к ним разные угодья – с единственной целью завести хорошую охоту. Он построил также особняк Симезов в городе Труа, неподалеку от особняка Сен-Синей. Эти два старинных дома да еще епископские палаты долгое время были единственными каменными зданиями в Труа. Поместье Симез маркиз продал герцогу Лотарингскому. В царствование Людовика XV сын маркиза промотал все сбережения и часть огромного отцовского состояния; однако впоследствии он сделался командиром эскадры, потом вице-адмиралом и своей доблестной службой искупил проказы юности. Маркиз де Симез, сын этого моряка, погиб на эшафоте в Труа и оставил двух близнецов, которые эмигрировали и находились теперь за границей, разделяя судьбу семейства Конде.

В старину, при «великом маркизе», площадка служила местом сбора охотников (основателя Гондревилья звали в семье Симезов «великим маркизом»). С 1789 года Мишю жил здесь, в охотничьем домике, стоявшем в глубине парка; домик был построен еще при Людовике XIV и назывался сен-синьским павильоном. Деревня Сен-Синь расположена на опушке Нодемского леса (Нодем – искаженное Нотр-Дам); к лесу ведет аллея вязов, та самая, на которой Куро учуял шпионов. После смерти «великого маркиза» охотничий павильон был совсем заброшен. Вице-адмирала гораздо больше привлекали море и двор, чем Шампань, а сын его предоставил домик в распоряжение Мишю.

Это изящное сооружение сложено из кирпича, а его углы, двери и окна украшены резным камнем. Со всех сторон оно окружено чугунной оградой превосходной работы, но сильно заржавевшей; за нею тянется широкий и глубокий ров, вдоль которого вздымаются могучие деревья и высится изгородь, угрожающая злоумышленникам бесчисленными шипами.

Стена парка проходит позади круглой охотничьей площадки. За нею виден широкий полумесяц обсаженного вязами откоса, а соответствующий ему полукруг внутри парка состоит из массивов экзотических деревьев. Охотничий домик находится в самом центре площадки, окаймленной двумя подковами лужаек. Мишю устроил в залах нижнего этажа конюшню, хлев, кухню и дровяной сарай. От былой роскоши осталась только прихожая, выложенная белым и черным мрамором; сюда ведет со стороны сада дверь-окно с маленькими стеклышками; такие двери еще недавно были в Версале, до того как Луи-Филипп превратил этот дворец в богадельню былой славы Франции⁴. Внутри домик разделен надвое старинной лестницей, источенной червями, но очень характерной для архитектуры того времени; она ведет в верхний этаж, где расположено пять низковатых комнат. Еще выше – просторный чердак. Сей почтенный дом увенчан высокой четырехскатной крышей с гребнем и двумя свинцовыми букетами; в крыше четыре слуховых окна, которые так любил Мансар, и был вполне прав, ибо во Франции аттик и плоские, на итальянский манер, крыши – бессмыслица, против которой восстает сам климат. Здесь Мишю устроил сеновал. Участок парка, прилегающий к этому старинному домику, выдержан весь в английском вкусе. Раньше шагах в ста отсюда находилось озеро; теперь это обыкновенный пруд, изобилующий рыбой; о его близости можно судить по легкому туману, стоявшему над деревьями, и по кваканью лягушек, жаб и прочих земноводных, любящих поболтать на закате солнца. Ветхость дома, глубокое безмолвие парка, перспектива аллеи, дальний лес, тысячи мелочей вроде изъеденной ржавчиной решетки или груды замшелого камня – все придает охотничьему домику, существующему и поныне, особую поэтичность.

В ту минуту, когда начинается эта история, Мишю сидел, облокотись на покрытую мхом каменную ограду, где лежали его картуз, платок, пороховница, отвертка, тряпки – сло-

⁴ *Богдельня былой славы Франции.* – Так саркастически называет Бальзак открытый в 1838 г. в Версале королем Луи-Филиппом музей «Славных воспоминаний Франции».

вом, все принадлежности, необходимые для его загадочных приготовлений. Стул, на котором сидела его жена, стоял возле наружной двери павильона, над которой еще сохранился отлично изваянный герб Симезов и их благородный девиз: «*Si meurs!*»⁵ Мать, одетая по-крестьянски, поставила свой стул перед стулом г-жи Мишю, чтобы дочь могла опереться ногами на перекладину и таким образом уберечь их от сырости.

– А где малыш? – спросил Мишю у жены.

– Бродит около пруда; его не оторвешь от всяких букашек да лягушек.

Мишю свистнул так, что можно было затрепетать. Быстрота, с какой прибежал его сын, свидетельствовала о деспотизме гондревильского управляющего. С 1789, а особенно с 1793 года Мишю стал почти полновластным хозяином этих мест. Страх, который он внушал жене, теще, слуге-подростку по имени Гоше, а также служанке Марианне, распространялся на всю округу. Пожалуй, не стоит больше медлить с объяснением причин, вызывавших подобное чувство, тем более что это в какой-то мере дополнит нравственный портрет Мишю.

Старый маркиз де Симез распродавал свои имения в 1790 году; но события опередили его, и он не успел передать в надежные руки прекрасное поместье Гондревиль. Маркиз и его супруга были обвинены в сношениях с герцогом Брауншвейгским и принцем Кобургским и заключены в тюрьму; революционный трибунал в Труа, председателем которого был отец Марты, приговорил их к смертной казни. Таким образом их прекрасное имение стало достоянием государства. Во время казни маркиза и его супруги многие не без ужаса заметили среди толпы главного лесничего Гондревилья, ставшего председателем Якобинского клуба в городе Арси; он нарочно приехал в Труа, чтобы присутствовать при казни. Мишю, сын простого крестьянина, сирота, был облагодетельствован маркизой; она воспитала его у себя в замке, а затем назначила своим лесничим; поэтому даже наиболее фанатичные люди считали его своего рода Брутом, а после проявленной им неблагодарности все земляки отвернулись от него. Имение Гондревиль было куплено неким Марионом, жителем Арси, внуком бывшего управляющего Симезов. Этот человек, занимавшийся до и после революции адвокатурой, боялся лесничего; поэтому он взял его в управляющие, назначил ему три тысячи ливров жалованья да отчисления от доходов с поместья. Мишю, известный как ярый патриот и уже слышавший обладателем капитала тысяч в десять, женился на дочери кожевника из Труа, который считался апостолом революции в этом городе, где он председательствовал в местном революционном трибунале. Кожевник этот, человек твердых убеждений и характером своим походивший на Сен-Жюста⁶, впоследствии оказался замешанным в заговоре Бабёфа⁷ и, чтобы избежать казни, покончил жизнь самоубийством. Марта была самой красивой девушкой в Труа. Поэтому, вопреки своей скромности, она была вынуждена, по воле грозного отца, изображать богиню Свободы во время одного из республиканских празднеств. За семь лет новый владелец Гондревилья и трех раз не побывал в своем поместье. Так как его дед был управляющим у Симезов, то весь город Арси решил, что Марион действует в интересах этой семьи. Пока продолжался террор, смотритель Гондревилья – ярый патриот, зять председателя революционного трибунала в Труа, человек, обласканный Маленом (Обским), одним из депутатов этого департамента, – пользовался некоторым уважением и сознавал это. Но когда Гора⁸ была разгромлена, когда тесть его лишил себя жизни, Мишю

⁵ «Умри, не отступив!» (лат.)

⁶ *Сен-Жюст* Антуан-Луи (1767–1794) – один из виднейших политических деятелей Французской буржуазной революции конца XVIII в., якобинец, ближайший соратник и друг Робеспьера.

⁷ *Бабёф* Франсуа-Нозль, по прозвищу Грахх (1760–1797) – коммунист-утопист, глава тайного «Общества Равных»; был казнен правительством Директории.

⁸ *Гора* – революционно-демократическое крыло Конвента в период Французской буржуазной революции конца XVIII в. Представителей этой политической группы называли «монтаньярами» (от французского слова «montagne», то есть «гора»).

превратился в козла отпущения; все поспешили приписать и ему и тестю такие дела, к которым сам Мишю не имел никакого касательства. Лесничий возмутился людской несправедливостью, замкнулся в себе, ожесточился. Мишю стал дерзким. Однако после 18 брюмера он хранил глубокое молчание, которое является философией сильных людей; он уже не воевал с общественным мнением, довольствуясь тем, что действует; эта мудрая сдержанность привела к тому, что его стали считать хитрецом, ведь он располагал капиталом тысяч в сто, вложенным в землю. Но, во-первых, он ничего не тратил; во-вторых, это состояние он скопил вполне законным путем – как благодаря наследству, оставленному тестем, так и благодаря тем шести тысячам в год, которые Мишю получал в виде жалованья и процентов. Хотя он был уже двенадцать лет управляющим и каждый без труда мог подсчитать его сбережения, все же, когда в начале Консульства этот бывший сторонник Горы купил себе ферму за пятьдесят тысяч франков, жители Арси стали возмущаться и обвинять его в намерении вернуть себе былой вес при помощи большого состояния. К несчастью, в то самое время, когда о бывшем монтаньяре уже начали забывать, одна нелепая история, раздутая провинциальными сплетнями, вновь укрепила всеобщую уверенность в том, что это человек необычайной жестокости.

Как-то вечером, выходя из предместья Труа в обществе нескольких крестьян, среди которых был и арендатор Сен-Синя, Мишю обронил на дороге какую-то бумажку; арендатор, шедший позади других, нагнулся и подобрал ее; Мишю оборачивается, видит бумажку в руках этого человека, тут же выхватывает из-за пояса пистолет, заряжает его и грозит фермеру (а тот учился грамоте), что немедленно прострелит ему голову, если он осмелится развернуть бумагу. Движения Мишю были так проворны, так резки, голос его звучал так грозно, глаза пылали таким огнем, что все онемели от ужаса. Арендатор сен-синьской фермы, естественно, был врагом Мишю. Все состояние мадмуазель де Сен-Синь, кузины Симезов, состояло в этой единственной ферме, а жила она в своем замке Сен-Синь. Весь смысл существования мадмуазель де Сен-Синь заключался в ее двоюродных братьях-близнецах, с которыми она играла девочкой в Труа и Гондревиле. Ее единственный родной брат Жюль де Сен-Синь, эмигрировавший раньше, чем братья Симезы, был убит под Майнцем; но благодаря довольно редкой привилегии, о которой речь будет ниже, роду Сен-Синей не грозило угаснуть из-за отсутствия мужских представителей. Столкновение между Мишю и сен-синьским фермером вызвало шум во всей округе и еще сгустило тот налет таинственности, который лежал на Мишю; однако были и другие причины, делавшие его опасным в глазах окружающих. Несколько месяцев спустя после этого происшествия гражданин Марион, в сопровождении гражданина Малена, приехал в Гондревиль. Прошел слух о том, что Марион собирается продать имение этому человеку; политические события пошли Малену на пользу: первый консул, желая вознаградить Малена за услуги, оказанные им 18 брюмера, назначил его членом Государственного совета. Тут политики захолустного городка Арси догадались, что Марион был подставным лицом Малена, а не господ Симезов. Всесильный государственный советник был самой важной персоной в городе. Он устроил одного из своих политических единомышленников в префектуру Труа, выхлопотал освобождение от воинской повинности сыну одного из гондревильских фермеров, по имени Бовизаж, – словом, старался всем услужить. Поэтому сделка не должна была встретить никаких возражений в этих местах, где Мален был и еще теперь продолжает быть хозяином. То была заря Империи. Тот, кто в наши дни читает историю Французской революции, даже представить себе не может, какими огромными интервалами отделяла тогда человеческая мысль события, в действительности столь близкие одно от другого. Жажда спокойствия и мира, которая после этих бурных потрясений ощущалась всеми, вытеснила из памяти людей даже самые значительные события недавних лет. История быстро старела, ибо возникали все новые жгучие интересы. Поэтому никто, кроме Мишю, не вспоминал, как началось это

дело; оно казалось всем вполне естественным. Марион, в свое время купивший Гондревиль за шестьсот тысяч франков ассигнациями, продал его за миллион золотом; однако Мален выложил наличные лишь за составление купчей. Гревен, старый товарищ Малена по конторе, конечно, покровительствовал этой сделке, а государственный советник отблагодарил его тем, что выхлопотал ему место нотариуса в Арси. Когда эта новость дошла до охотничьего домика, куда ее принес арендатор «Груажа» – фермы, расположенной между лесом и парком, справа от великолепной аллеи, – Мишю побледнел и вышел из дому; он стал разыскивать Мариона и наконец встретил его в одной из аллей парка; Марион был один.

– Вы продаете Гондревиль?

– Продаю, Мишю, продаю! Вашим новым хозяином будет человек весьма влиятельный. Государственный советник – друг первого консула; он приятель со всеми министрами и может быть вам, полезен.

– Вы, значит, берегли имение для него?

– Ну, это не совсем так, – ответил Марион. – В те времена я не знал, куда поместить деньги, и решил, что самое надежное вложить их в конфискованные земли; но мне неудобно оставаться владельцем поместья, принадлежавшего семье, у которой мой отец был...

– Слугою, управляющим, – резко оборвал его Мишю. – Однако вы не продадите имение Малену! Я сам хочу купить его, денег у меня хватит.

– Ты?

– Да, я; и я не шучу; я готов уплатить вам наличными восемьсот тысяч.

– Восемьсот тысяч? Да откуда же они у тебя? – удивился Марион.

– Это вас не касается, – возразил Мишю. Потом, смягчившись, добавил чуть слышно: – Мой тесть спас немало людей.

– Но ты опоздал, Мишю, дело уже сделано.

– Откажитесь от него, сударь! – воскликнул управляющий и, схватив руку своего хозяина, сжал ее словно тисками. – Меня ненавидят, вот я и хочу стать богатым и сильным; мне нужен Гондревиль! Слушайте, я жизнью не дорожу, и либо вы продадите имение мне, либо я вас застрелю...

– Дайте хоть время, чтобы отделаться от Малена, ведь это не так легко...

– Даю вам сутки. А если вы хоть словом обмолвитесь на этот счет, я снесу вам голову с плеч, как кочан капусты.

Ночью Марион и Мален уехали из замка. Марион перепугался; он рассказал государственному советнику об этой встрече и посоветовал не спускать глаз с управляющего. Марион не мог не выполнить своих обязательств и не передать имение тому, кто действительно за него заплатил, а Мишю, видимо, не в состоянии был ни понять, ни признать такой довод. К тому же услуга, которую Марион оказывал Малену, должна была стать и действительно стала источником политической карьеры Мариона и его брата. В 1806 году Мален добился назначения стряпчего Мариона первым председателем суда, а когда была учреждена должность управляющих окладными сборами, он исхлопотал эту должность в департаменте Об для брата стряпчего. Государственный советник настоял на том, чтобы Марион остался в Париже, и сообщил обо всем министру полиции, который приказал установить за Мишю наблюдение. Чтобы не толкнуть Мишю на крайности, а может, и чтобы следить за ним, Марион, невзирая на все это, не уволил его, и Мишю продолжал управлять имением под надзором арсийского нотариуса. С этого времени за Мишю, становившимся все угрюмее и задумчивей, утвердилась репутация человека, который способен даже на преступление.

Мален, будучи государственным советником (а эту должность первый консул приравнял тогда к должности министра) и являясь, кроме того, одним из составителей Кодекса, слыл в Париже лицом весьма влиятельным; он приобрел один из лучших особняков Сен-Жерменского предместья и еще до этого женился на единственной дочери Сибюэля, бога-

того, но сомнительной репутации коммерсанта, которого он устроил помощником Мариона в управление окладными сборами департамента Об. Поэтому он посетил Гондревиль всего-навсего один раз, вполне полагаясь на Гревена в деле защиты своих интересов. Да и чего было ему, бывшему депутату департамента Об, опасаться со стороны бывшего председателя арсийского Клуба якобинцев? Однако дурное мнение о Мишю, сложившееся в низших классах, стала под конец разделять и буржуазия; Марион, Гревен, Мален, осторожно и не вдаваясь в объяснения, начали отзываться о нем как о человеке крайне опасном. Местные власти, получившие приказ министра полиции наблюдать за управляющим, не опровергли установившегося мнения. В конце концов жители департамента Об стали удивляться: почему Мишю все-таки продолжает занимать место управляющего; но эту снисходительность Малена объясняли тем ужасом, который Мишю внушал всем окружающим. Кому теперь не будет понятна глубокая печаль, сквозившая во всем облике жены этого человека?

Прежде всего следует сказать, что Марта была воспитана матерью в духе глубокого благочестия. Как истых католичек, их обеих очень удручал образ мыслей и поведение кожевника. Марта краснела от стыда при одном воспоминании о том, как ее возили по улицам Труа в виде языческой богини. Она и замуж вышла по воле отца за Мишю, дурная слава которого все росла, а вместе с тем Марта так боялась мужа, что никогда не осмеливалась его судить. Однако она чувствовала себя любимой, и в глубине ее сердца тоже таилась самая искренняя привязанность к этому страшному человеку. Она никогда не замечала, чтобы он был несправедлив, никогда не слышала от него грубого слова – по крайней мере, по отношению к ней; наконец, он старался угадывать все ее желания. Несчастный отщепенец полагал, что он неприятен жене, и старался как можно меньше бывать дома. Марта и Мишю не доверяли друг другу и находились в состоянии так называемого вооруженного мира. Марта проводила дни в полном одиночестве и очень страдала от всеобщего недоброжелательства, которое последние семь лет тяготело над нею, ибо люди считали ее отца палачом, а мужа – предателем. В долине, справа от аллеи, стояла ферма «Белаш», которую арендовал Бовизаж, человек преданный Симезам, и Марте не раз доводилось слышать, как обитатели фермы, проходя мимо дома Мишю, говорили: «Вот Иудины хоромы!» И действительно, ее мужа прозвали в округе Иудой из-за его странного сходства с тринадцатым апостолом, – сходство, которое сам он как будто постарался дополнить внутренними своими качествами. Вот от этих-то невзгод да от постоянной смутной тревоги за будущее и стала Марта такой задумчивой и сосредоточенной. Ничто так не гнетет, как незаслуженный позор, избавиться от которого нет возможности. Художник мог бы создать прекрасную картину, изобразив эту семью отверженных, живущую в одном из красивейших уголков Шампани, пейзажи которой обычно овеяны печалью.

– Франсуа! – крикнул управляющий, чтобы сын поторопился.

Франсуа Мишю, мальчик лет десяти, чувствовал себя в парке и в лесу полным хозяином – лакомился фруктами, охотился, не знал ни забот, ни огорчений; он был единственным счастливым существом в этой семье, отделенной от окружающего мира парком и лесом, подобно тому как в нравственном смысле ее отделяло от людей всеобщее презрение.

– Собери-ка все это, – сказал Мишю, указывая сыну на вещи, лежащие на каменной ограде, – и спрячь. Смотри мне в глаза! Ты нас с мамой любишь? – Мальчик бросился к отцу, чтобы обнять его, но Мишю переставил карабин и отстранил сына. – Слушай: тебе не раз случалось болтать о том, что у нас тут делается, – сказал он, устремив на мальчика пристальный взгляд, подобный взгляду дикой кошки. – Так хорошенько запомни следующее: если ты будешь рассказывать даже о самых ничтожных пустяках, происходящих здесь, хотя бы Гоше, людям из Груажа или Белаша или даже Марианне, которая любит нас, – ты погубишь отца. Смотри, чтобы этого больше не было, и я прощу тебе твою прежнюю болтливость.

Мальчик расплакался.

– Не хнычь. О чем бы тебя ни спросили, на все отвечай, как крестьяне: «Не знаю». Тут в округе шныряют какие-то люди, и мне это не по душе. Ну, вот! И вы обе – вы тоже слышали? – обратился Мишю к женщинам. – Так и вы держите язык за зубами.

– Друг мой, что ты затеял?

Мишю тщательно отмерил порошу на заряд, высыпал его в ствол карабина, прислонил ружье к стенке и сказал Марте:

– Никто у меня этого карабина не видел. Заслони-ка его.

Тут Куро вскочил и яростно залаял.

– Славный, умный пес! – промолвил Мишю. – Я уверен, что это сыщики...

Человек чувствует, когда его выслеживают. Куро и Мишю, у которых, казалось, была одна душа, жили в таком же единении, в каком живет в пустыне араб со своим конем. Управляющий знал все оттенки его лая и по нему угадывал мысли собаки, точно так же как собака читала по глазам мысли хозяина, чуяла их, словно они излучались его телом.

– Ну как тебе понравится? – возмущенно прошептал Мишю, указывая жене на две зловещие личности, которые появились на боковой аллее и направлялись к охотничьему домику.

– Что это за люди? Парижане какие-то? – спросила старуха.

– Ах, вот оно что! – воскликнул Мишю. – Заслони мой карабин, – шепнул он жене, – они идут сюда.

Парижан, пересекавших площадку, художник, несомненно, счел бы типическими. На одном из них, по-видимому подчиненном, были сапоги с отворотами, спускавшимися так низко, что видны были его тощие икры и шелковые узорные чулки сомнительной чистоты. Суконные в рубчик панталоны абрикосового цвета с металлическими пуговицами были ему явно широки, они сидели мешком, а слежавшиеся складки указывали на то, что человек этот ведет сидячий образ жизни. Открытый пикейный жилет, щедро украшенный рельефной вышивкой, но застегнутый на животе только на одну пуговицу, придавал ему вид неряхи, а завитые штопором черные волосы, скрывавшие часть лба и свисавшие по бокам, усугубляли это впечатление. На поясе болтались две стальные часовые цепочки, сорочку украшала булавка с камеей в два тона – синий и белый. Коричневый фрак так и просился в карикатуру из-за длинных фалд, которые, если смотреть сзади, до такой степени напоминали хвост трески, что их так и прозвали. Мода на фраки с тресковым хвостом продержалась целых десять лет, почти столько же, сколько и империя Наполеона. Большой шейный платок с многочисленными глубокими складками позволял этому субъекту зарываться в него лицом до самого носа. Угреватая кожа, толстый и длинный кирпично-красный нос, багровые щеки, беззубый, но хищный и плотоядный рот, уши с большими золотыми серьгами, низкий лоб – всем этим чертам, казалось бы уродливо-смешным, придавали свирепость крошечные кабаньи глазки, горящие неуголимой жадностью и глумливой, почти озорной жестокостью. Эти пронзительные и колючие, голубые, как лед, и леденящие глаза можно было принять за воплощение того пресловутого глаза, который был выдуман во время Революции как грозный символ полиции. На незнакомце были черные шелковые перчатки, в руках – тросточка. Это было, по-видимому, лицо официальное, ибо в его манере держаться, в том, как он брал щепотку табаку и засовывал ее в нос, сквозила важность чиновника, хоть и второстепенного, но явно выдвигающегося человека, который по приказу свыше мгновенно мог сделаться всесильным.

Другой был одет в том же роде, но платье его было изящно и изысканно во всех мелочах, и носил его незнакомец тоже очень изящно; его «суворовские» сапоги, надетые на панталоны в обтяжку, при ходьбе поскрипывали; поверх фрака на нем был спенсер, по аристократической моде, усвоенной клишйцами и золотой молодежью и пережившей клишйцев и золотую молодежь. В те времена иные моды существовали дольше, чем политические партии, что являлось признаком анархии и что мы снова видели в 1830 году. Этому отъ-

явленному щеголю было лет тридцать. Судя по его манерам, это был человек светский; он носил драгоценности. Воротничок сорочки доходил ему до ушей. Его фатоватый и почти что наглый вид свидетельствовал о каком-то тайном превосходстве; землистое лицо казалось совсем бескровным, во вздернутом тонком носе, напоминавшем нос покойника, было что-то язвительное, а зеленые глаза казались непроницаемыми; взгляд их говорил так же мало, как должны были мало говорить и тонкие, сжатые губы. Первый казался добродушным парнем по сравнению с этим сухим и тощим молодым человеком, рассекавшим воздух тросточкой с золотым, сверкавшим на солнце набалдашником. Первый мог собственными руками отрубить кому-нибудь голову, второй же был способен опутать сетями интриг и клеветы невинность, красоту, добродетель, хладнокровно утопить их или дать им яду. Краснощекий мог бы утешить свою жертву забавными ужимками, второй даже не улыбнулся бы. Первому – видимо, чревоугоднику и сластолюбцу – было лет сорок пять. Подобного рода люди наделены страстями, которые делают их рабами своего ремесла. Зато молодой человек казался чужд и страстей и пороков. Если он и был шпионом, то для него это была дипломатия, и работал он ради чистого искусства. Один вынашивал замысел, другой выполнял его; один был идеей, другой – формой.

– Это Гондревиль, почтенная? – спросил младший.

– Здесь не принято говорить «почтенная», – поправил его Мишю. – Мы люди без затей и еще запросто зовем друг друга «гражданами».

– Вот как, – спокойно ответил молодой человек, ничуть не смутившись.

Иной раз случается, что игроков, особенно в экарте, вдруг охватывает какая-то глубокая растерянность, если именно в ту минуту, когда им особенно везет, за их стол садится человек, поведение которого, взгляд, голос, манера тасовать карты предвещают им разгром. Оказавшись лицом к лицу с этим молодым человеком, Мишю испытал именно такого рода пророческую слабость. Его охватило предчувствие могилы, ему смутно представился эшафот; какой-то внутренний голос громко подсказал ему, что щеголь сыграет в его жизни роковую роль, хотя они пока еще ничем не связаны. Поэтому говорил он резко, ему хотелось быть грубым, и он был груб.

– Ваш хозяин – государственный советник Мален? – спросил молодой.

– Я сам себе хозяин, – отрезал Мишю.

– Скажите же, однако, сударыня, – опять спросил молодой человек, стараясь быть как можно вежливей, – мы в Гондревиле? Там нас ждет господин Мален.

– Вот парк, – ответил Мишю, указывая на открытые ворота.

– А почему вы прячете этот карабин, красавица? – игриво спросил спутник молодого человека; уже дойдя до решетки, он заметил ствол ружья.

– Ты *работаешь* даже в деревне! – воскликнул, улыбнувшись, младший.

Они вернулись к домику, послушные чувству смутного недоверия, и это отлично понял управляющий, хотя лица незнакомцев и хранили полную невозмутимость; невзирая на лай Куро, Марта дала им осмотреть карабин; она была уверена, что Мишю втайне замышляет что-то безрассудное, и почти радовалась, что незнакомцы оказались столь проницательными. Мишю бросил на жену взгляд, от которого она содрогнулась, взял карабин и почел нужным зарядить его пулей, тем самым как бы бросая вызов всему, что несли с собой эта встреча и инцидент с карабином; казалось, он уже не дорожит жизнью, и его жена отлично поняла, что он принял некое роковое решение.

– Видно, у вас тут завелись волки? – спросил молодой человек, обращаясь к Мишю.

– Где овцы, там всегда найдутся и волки. Ведь вы в Шампани, кругом лес; у нас водится вепрь, водится крупный и мелкий зверь, всего есть понемногу, – с насмешкой ответил Мишю.

– Готов биться об заклад, Корантен, – сказал старший незнакомец, обменявшись взглядом со своим спутником, – что это и есть мой любезный Мишю...

– Мы с вами детей не крестили, – заметил управляющий.

– Детей не крестили, но председательствовали в Якобинском клубе, гражданин, – возразил старый циник, – вы в Арси, я – в другом месте. Ты придерживаешься вежливости времен Карманьолы⁹, но она теперь уж не в моде, приятель.

– Парк, кажется, очень велик, мы можем в нем заблудиться; раз вы управляющий, распорядитесь, чтобы нас проводили в замок, – сказал Корантен тоном, не допускавшим возражений.

Продолжая забивать пулю, Мишю свистнул, чтобы подзвать сына. Корантен равнодушно разглядывал Марту, зато его спутнику она явно приглянулась; однако Корантен замечал в ней признаки крайней тревоги, которые ускользали от внимания старого развратника, испуганного карабином. В столь ничтожном, но знаменательном инциденте полностью сказались эти два различных характера.

– У меня дело по ту сторону леса, – сказал управляющий, – и сам я не могу услужить вам, но мой сын проводит вас в замок. С какой стороны вы приехали в Гондревиль? Через Сен-Синь?

– У нас тоже были дела по ту сторону леса, – ответил Корантен как будто без всякой иронии.

– Франсуа, – сказал Мишю, – проводи этих господ в замок тропинками, да так, чтобы их никто не видел, им проторенные дороги не по душе. Подойди-ка сюда сначала! – добавил он, видя, что незнакомцы уже повернулись к нему спиной и удаляются, разговаривая вполголоса. Мишю схватил сына и поцеловал его почти благоговейно, с таким выражением, которое еще больше укрепило Марту в ее предчувствиях; озноб пробежал у нее по спине, и она взглянула на мать в отчаянии, но без слез, ибо не могла плакать.

– Ступай, – сказал Мишю. И он следил за мальчиком до тех пор, пока совсем не потерял его из виду. – О, опять Виолет! – заметил он. – Сегодня он уже третий раз проходит здесь. Что только творится! Перестань, Куро.

Через несколько мгновений раздался частый конский топот.

Виолет сидел на шустрой лошадке, на каких ездят крестьяне в окрестностях Парижа; под круглой широкополой шляпой лицо его, смуглое и морщинистое, казалось еще темнее. За лукавым блеском его серых глазок таилось присущее ему вероломство. Его тощие ноги в белых холщовых гетрах болтались, не упираясь в стремя; казалось, их поддерживают толстые подкованные башмаки. На нем была синяя суконная куртка, а поверх нее – полосатая черно-белая накидка. Седые волосы в завитках лежали на воротнике. Весь его наряд, серая приземистая лошадь, посадка – Виолет сидел в седле, выпятив живот и откинувшись корпусом назад, – толстая, потрескавшаяся, коричневая рука, сжимавшая дрянной, шершавый, потертый повод, – все это изобличало в нем крестьянина скарёдного, чванного и самонадеянного, стремящегося захватить побольше земли и приобретающего ее любым способом. Рот у него был такой формы, словно его прорезал ланцетом хирург; этот рот с синеватыми губами и бесчисленные морщины на щеках и на лбу придавали его физиономии какую-то неподвижность, и только контуры ее были выразительны. В этих чертах, жестких и резких, было что-то угрожающее, несмотря на смиренный вид, который напускают на себя почти все деревенские жители, чтобы скрыть свои чувства и расчеты, подобно тому как жители Востока и дикари скрывают их за невозмутимой важностью. Превратившись при помощи ряда подлостей из простого крестьянина-поденщика в арендатора «Груажа»,

⁹ *Вежливость времен Карманьолы* – то есть времен якобинской диктатуры, 1793–1794 гг. (когда в моде была революционная песня – «Карманьола»).

он придерживался прежнего образа действий и после того, как добился положения, даже превзошедшего первоначальные его желания. Он радовался бедам ближнего и от всей души желал ему зла. Если Виолету представлялась возможность содействовать злу, он делал это с любовью. Он был откровенно завистлив; но он всегда держался в пределах законности, ни дать ни взять – парламентская оппозиция. Он был убежден в том, что благосостояние его зависит от разорения других, а всякого, кто стоял выше его, он считал своим личным врагом, в борьбе с которым все средства хороши. Подобные типы очень часто встречаются среди крестьян. Главной заботой Виолета было теперь добиться от Малена продления аренды – срок ее истекал через шесть лет. Завидуя богатству управляющего, Виолет пристально следил за ним; местные жители корили его за то, что он знается с семьей Мишю; но хитрый арендатор поджидал случая оказать услугу правительству или Малену, который опасался Мишю, и в награду надеялся получить согласие на продление аренды еще на двенадцать лет. С помощью гондревильского сторожа, полеобъездчика и некоторых крестьян, ходивших в лес за хворостом, Виолет был осведомлен о каждом шаге Мишю и сообщал обо всем полицейскому комиссару в Арси. Этот человек пытался завербовать и служанку Мишю, Марианну, однако потерпел неудачу; зато Виолет и его приверженцы все узнавали от Гоше, паренька, который служил работником у Мишю и пользовался доверием хозяина: он предавал Мишю за разные безделицы – за жилет, пряжки, бумажные носки, лакомства. Мальчишка, впрочем, и не подозревал, какое значение имеет его болтливость. Виолет неизменно истолковывал все поступки Мишю в дурную сторону и, строя самые нелепые предположения, придавал его действиям преступный смысл; управляющий не знал об этом, хотя и догадывался о гнусной роли, какую играет по отношению к нему арендатор; его даже забавляло дурачить Виолета.

– У вас, видно, много дел в «Белаше», коли вы опять здесь, – сказал Мишю.

– «Опять»! Это что же – упрек, господин Мишю? А вы не собираетесь ли воробьев приманивать этой дудочкой? Я и не знал, что у вас такой карабин...

– Он вырос у меня на карабиновом поле, – ответил Мишю. – Вот смотрите, как я их сею. Управляющий прицелился в чертополох шагах в тридцати и срезал его под корень.

– И вы держите это разбойничье оружие для того, чтобы охранять хозяина? Уж не он ли вам его подарил?

– Он нарочно приехал из Парижа, чтобы мне его поднести, – ответил Мишю.

– А что ни говорите, люди много кое-чего болтают на его счет: одни уверяют, будто он попал в немилость и уходит на покой, другие, будто он сам хочет тут во всем разобраться. А в самом деле – почему он пожаловал без предупреждения, совсем как первый консул? Вы-то знали, что он едет?

– Я с ним не так близок, чтобы он поверял мне свои планы.

– Значит, вы его еще не видели?

– Я узнал о его приезде, только когда вернулся из леса, – ответил Мишю, снова заряжая ружье.

– Он послал в Арси за господином Гревеном; верно, собираются что-нибудь *натрибунировать*...

Мален в свое время был трибуном¹⁰.

– Если вы едете в сторону Сен-Синя, – сказал Мишю Виолету, – подвезите меня, мне как раз туда.

Виолет был слишком труслив, чтобы посадить позади себя такого силача, как Мишю; он мигом пришпорил лошадь. Иуда Арсийский вскинул ружье на плечо и помчался к аллее.

¹⁰ ...был трибуном – то есть членом так называемого Трибуната, одной из четырех палат, осуществлявших в период Консульства во Франции законодательную власть.

– На кого это Мишю сердится? – обратилась Марта к матери.

– С тех пор как он узнал о приезде господина Малена, он сам не свой, – ответила та. –

Но становится сыро, пойдем домой.

Когда женщины уселись возле очага, они услышали лай Куро.

– А вот и Мишю! – воскликнула Марта.

Действительно, Мишю поднимался по лестнице; встревоженная Марта пошла вслед за ним в их спальню.

– Посмотри: никого нет? – взволнованно обратился он к жене.

– Никого, – ответила она. – Марианна на лугу с коровой, а Гоше...

– Где же Гоше? – переспросил он.

– Не знаю.

– Я перестал доверять этому негоднику; поднимись на чердак, осмотри его, поищи мальчишку во всех закоулках, во всем доме.

Марта вышла; вернувшись, она застала Мишю на коленях; он молился.

– Что с тобою? – спросила она в испуге.

Управляющий обнял жену за талию, привлек ее к себе, поцеловал в лоб и взволнованно сказал:

– Если мы с тобою больше не увидимся, знай, милая моя женушка, что я очень любил тебя. Следуй в точности всем моим распоряжениям, которые ты найдешь в оставленном мною письме; оно зарыто под листовницей, вон там, возле тех деревьев, – сказал он, помолчав, и указал на дерево. – Письмо в жестяной банке. Откопай его только после моей смерти. И – что бы ни случилось, как бы люди ни были несправедливы – верь, что моя рука послужила делу правосудия божия.

Марта постепенно бледнела и стала наконец белее полотна; она пристально взглянула на мужа, глаза ее расширились от ужаса; ей хотелось заговорить, но горло у нее пересохло. Привязав к ножке кровати Куро, который завыл, как воют собаки, когда почуют беду, Мишю исчез словно призрак.

Гнев Мишю на господина Мариона имел серьезные основания, но теперь Мишю перенес его на человека, в глазах Мишю гораздо более преступного, – на Малена, секреты которого Мишю отгадал, ибо управляющий лучше чем кто-либо мог оценить по достоинству поведение государственного советника. Как политический деятель, тесть Мишю пользовался доверием Малена, когда тот благодаря стараниям Гревена был избран в Конвент в качестве представителя от департамента Об.

Пожалуй, нелишним будет рассказать о роковых обстоятельствах, столкнувших Симезов и Сен-Синей с Маленом и тяготевших над близнецами и барышней де Сен-Синь, а в еще большей мере – над Мартой и Мишю. В городе Труа особняк Сен-Синей стоял прямо напротив особняка Симезов. Чернь, страсти которой были разожжены столь же ловкими, сколь и осторожными руками, разграбила дом Симезов, извлекла из него маркиза и его жену, обвиненных в сношениях с неприятелем, и передала их национальным гвардейцам, которые отвели их в тюрьму; затем эта чернь, действовавшая последовательно, завопила: «Теперь к Сен-Синям!» Толпа не допускала мысли, что Сен-Сини могут быть неповинны в преступлении Симезов. Почтенный и мужественный маркиз де Симез, опасаясь, как бы отвага не толкнула его восемнадцатилетних сыновей на какой-нибудь безрассудный поступок, и желая их спасти, поручил юношей за несколько минут до налетевшего урагана их тетке, графине де Сен-Синь. Двое слуг, преданных семье Симезов, держали молодых людей взаперти. Старик, не желавший, чтобы его род угас, приказал в случае беды все скрыть от сыновей. Оба брата одинаково горячо любили Лорансу, которой шел тогда тринадцатый год, и были горячо любимы ею. Как случается часто с близнецами, Симезы так походили друг на друга, что мать долгое время одевала их в костюмчики разного цвета, чтобы не спу-

тать. Родившегося первым звали Поль-Мари, младшего – Мари-Поль. Лоранса де Сен-Синь, от которой не скрыли опасность положения, прекрасно выполнила роль взрослой женщины: она уговаривала кузенов, умоляла, стерегла их до той самой минуты, пока чернь не окружила особняк Сен-Синей. Братья в один и тот же миг поняли, что им грозит, и обменялись взглядами, выразившими одну и ту же мысль. Решение было принято немедленно: они вооружили своих слуг, а также слуг графини де Сень-Синь, забаррикадировали дверь и вместе с этими пятью слугами и аббатом д'Отсэром – родственником Сен-Синей – стали у окон, за притворенными ставнями. И вот восемь храбрецов открыли по толпе бешеный огонь. Каждый выстрел убивал или ранил кого-нибудь из осаждавших. Лоранса, вместо того чтобы предаваться отчаянию, с удивительным хладнокровием заряжала ружья, подавала пули и порох тем, у кого они иссякали. Графиня де Сен-Синь упала на колени.

– Что с вами, матушка? – спросила Лоранса.

– Я молюсь, – отвечала та, – и за них, и за вас!

Возвышенные слова! Их произнесла при подобных же обстоятельствах, в Испании, мать принца Мира¹¹. Одиннадцать человек мгновенно были убиты и лежали на земле среди множества раненых. Такой ход событий либо охлаждает, либо еще больше распаляет чернь; она либо упорствует в своем намерении, либо отказывается от него. Передние ряды осаждавших отпрянули в ужасе; вся толпа, которая пришла сюда, чтобы убивать, грабить, резать, при виде убитых стала кричать: «Злодеи! Кровопийцы!» Более осторожные побежали за Представителем народа. Братья, узнавшие теперь о кровавых событиях этого дня, заподозрили члена Конвента в том, что он добивается гибели их семьи, и подозрение это скоро перешло в уверенность. Воодушевленные жаждой мести, они стали в воротах и зарядили ружья, намереваясь убить Малена, как только он появится. Графиня совсем потеряла голову; она уже видела на месте своего дома пепелище, а свою дочь убитой; она осуждала родственников за их героическую защиту, о которой потом целую неделю говорила вся Франция. По требованию Малена Лоранса приоткрыла ворота. Представитель народа, рассчитывая на то, что он всем внушает страх, и на слабость стоявшей перед ним девочки, вошел. Едва только он заговорил, спрашивая, по какому праву было оказано сопротивление, Лоранса перебила его:

– Как же так, сударь, вы хотите даровать Франции свободу, а не охраняете людей в их домах? Тут собираются разгромить наш дом и убить нас самих, и, по-вашему, мы не имеем права применить против силы силу?

Мален остолбенел.

– Вы, внук каменщика, который работал у великого маркиза при постройке его замка, вы допустили, чтобы наш отец был заточен в тюрьму, вы поверили клевете! – набросился на него Мари-Поль.

– Его выпустят, – ответил Мален; видя, как молодые люди судорожно сжимают в руках ружья, он решил, что ему пришел конец.

– Этому обещанию вы обязаны тем, что остались живы, – торжественно сказал Мари-Поль. – Но если оно до вечера не будет выполнено, мы сумеем вас разыскать.

– А что касается этой воющей черни, – добавила Лоранса, – то если вы не разгоните ее, первая пуля будет предназначена вам. А теперь, господин Мален, можете идти!

Мален вышел и обратился к толпе с речью; он говорил о священных правах домашнего очага, о *habeas corpus*¹², о неприкосновенности жилищ в Англии. Он сказал, что Закон и Народ – самодержавны, что Закон – это народ, а народ должен действовать только через

¹¹ *Принц Мира* – прозвище Мануэля Годоя (1767–1851), главы испанского правительства в 1792–1808 гг. Он заключил в 1795 г. мир с Францией.

¹² Начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 году (*лат.*).

Закон и сила может быть применена только Законом. Сила необходимости придала Малену красноречия, и ему удалось рассеять толпу. Но он на всю жизнь запомнил и презрение, написанное на лицах братьев, и слова барышни де Сен-Синь «можете идти». Поэтому, когда возник вопрос о продаже в качестве государственного имущества имений графа де Сен-Синя, брата Лорансы, раздел был произведен без всяких послаблений. Департаментские чиновники оставили Лорансе только замок, парк, сады да так называемую сен-синьскую ферму. Мален распорядился, чтобы за Лорансой было признано право лишь на часть имения, принадлежащую ей лично; что касается эмигранта, то все его имущество отходило к народу, особенно после того как граф поднял оружие против Республики.

Вечером, после этих бурных событий, Лоранса, страшаясь козней Малена и какого-нибудь предательства и опасаясь за братьев, стала так настойчиво упрашивать их уехать, что они сели на коней и пробрались к передовым отрядам прусской армии. Не успели близнецы доскакать до гондревильского леса, как особняк Сен-Синей был оцеплен; Мален явился самолично, в сопровождении вооруженной охраны, чтобы арестовать молодых наследников семьи Симезов. Он не посмел схватить ни графиню де Сен-Синь, которая лежала в сильнейшей нервной горячке, ни Лорансу – двенадцатилетнюю девочку. Слуги, опасаясь суровых нравов Республики, скрылись. На другое утро известие об оказанном сопротивлении и о бегстве юношей – как говорили, в Пруссию – облетело всю округу; перед особняком Сен-Синей собралась трехтысячная толпа, и дом был разнесен в щепки с непостижимой быстротой. Г-жу де Сен-Синь переправили в особняк Симезов, где она и скончалась от усилившейся горячки. Мишю появился на политической арене уже после этих событий, ибо маркиз и его жена провели в тюрьме около пяти месяцев. В это время представитель департамента Об куда-то уезжал по служебным делам. Но когда г-н Марион продал Гондревиль Малену, когда все уже успели позабыть о народных волнениях, Мишю до конца разгадал Малена – по крайней мере, ему казалось, что разгадал. Ибо Мален, подобно Фуше, принадлежал к тем людям, у которых столько личин и под каждой скрыты такие бездны, что люди эти в момент игры непроницаемы; их можно понять, лишь когда роль давно уже сыграна.

В важных случаях Мален неизменно советовался со своим верным другом Гревеном, арсийским нотариусом, который на расстоянии судил о вещах и людях здраво, ясно и четко. Такая привычка – сама мудрость; в ней-то и заключается сила второсортных людей. Между тем в ноябре 1803 года обстоятельства сложились для государственного советника настолько неблагоприятно, что письмо могло бы только скомпрометировать обоих друзей. Мален, ожидавший назначения в сенат, боялся назначить свидание в Париже; поэтому он покинул свой особняк и направился в Гондревиль; первому консулу он привел только одну причину для этой поездки, притом такую, которая в глазах Бонапарта могла ей придать характер служебного усердия, в то время как речь шла вовсе не об интересах государства, а о его собственных. И вот, пока Мишю, спрятавшись в парке, словно дикарь, подстерегал минуту, благоприятную для мести, дальновидный Мален, привыкший извлекать пользу из любого обстоятельства, вел своего друга на одну из лужаек английского сада – совершенно пустынную и удобную для беседы с глазу на глаз. Придерживаясь середины лужайки и говоря шепотом, друзья могли быть уверены, что на таком расстоянии их никто не услышит, даже допустить, что какой-нибудь соглядатай и притаился в кустах, чтобы подслушать их разговор; если же кто-нибудь появится, они успеют переменить разговор.

– А почему не остаться в замке? – спросил Гревен.

– Разве ты не заметил двух агентов, которых подослал ко мне префект полиции?

Хотя Фуше во время дела Пишегрю, Жоржа, Моро и Полиньяка и являлся душою консульского правительства, Министерством полиции он тогда не ведал и был простым государственным советником, как Мален.

– Эти два субъекта – две руки Фуше. Один из них – молодой щеголь, у которого лицо похоже на графин с лимонадом, на губах – кислота, а в глазах – уксус, в две недели покончил с восстанием на западе в седьмом году. Другой – детище Лемуара¹³; он единственный продолжатель великих заветов полиции. Я просил дать мне мелкого агента и в подкрепление ему – чиновника, а мне посылают этих двух молодцов. Ах, Гревен! Не сомневаюсь, что Фуше хочется заглянуть в мои карты. Вот почему я предоставил этим господам обедать в замке; пусть они все обнюхают, им не найти там ни Людовика Восемнадцатого, ни вообще чего-либо предосудительного.

– Позволь, – кому же ты играешь на руку? – заметил Гревен.

– Двойная игра всегда опасна, моя же игра – тройная, если принять во внимание, что я играю и с Фуше; он, быть может, пронюхал, что я посвящен в тайны Бурбонов.

– Ты?

– Я, – подтвердил Мален.

– Ты что же – забыл Фавра¹⁴?

При этом имени советник нахмурился.

– И с каких пор? – спросил, помолчав, Гревен.

– С объявления пожизненного консульства.

– Но доказательств у него нет?

– Ни столечко, – ответил Мален, показав на кончик ногтя.

Мален в кратких словах нарисовал критическое положение, в какое Бонапарт поставил Англию, ибо ей грозила гибель от армии, расположенной в Булони; он объяснил Гревену всю важность предстоящего десанта, чего еще не понимали ни Франция, ни Европа, но уже прозревал Питт; потом обрисовал критическое положение, в которое Англия, в свою очередь, поставит Бонапарта. Могущественная коалиция – Пруссия, Австрия и Россия, – субсидируемая английским золотом, должна выставить семьсот тысяч человек. Одновременно с этим гигантский заговор внутри страны захватывал в свою сеть всю Францию и объединял сторонников Горы с шуанами, роялистами и их принцами.

– Пока было три консула, Людовику Восемнадцатому казалось, что анархия все еще продолжается и что в случае каких-нибудь волнений ему удастся взять реванш за тринадцатое вандемьера¹⁵ и восемнадцатое фрюктидора¹⁶, – говорил Мален. – Но пожизненное консульство разоблачило намерения Бонапарта: скоро он станет императором. Этому бывшему поручику захотелось основать новую династию, – потому речь идет уже о том, чтобы его убрать, и удар подготавливается теперь еще искуснее, чем на улице Сен-Никез¹⁷. Пишегрю, Жорж, Моро, герцог Энгиенский и Полиньяк с Ривьером – два друга графа д'Артуа, – все участвуют в заговоре.

– Ну и мешанина! – воскликнул Гревен.

– Втихомолку всю Францию наводнили заговорщиками; хотят начать штурм сразу со всех сторон, в ход пущены все доступные средства. Сотня непосредственных исполнителей, под командой Жоржа, должна напасть на охрану консула и на него самого.

– Ну так и выдай их.

¹³ Лемуар Пьер – начальник парижской полиции в 1776–1785 гг.

¹⁴ Фавра Тома-Май, маркиз де (1744–1790) – политический агент графа Прованского (будущего Людовика XVIII), казненный за участие в контрреволюционном заговоре.

¹⁵ Тринадцатое вандемьера – пятое октября 1795 г. В этот день Наполеон Бонапарт подавил мятеж роялистов.

¹⁶ Восемнадцатое фрюктидора – четвертое сентября 1797 г. Дата, когда посланный Наполеоном Бонапартом, находившимся в Италии, генерал Ожеро решительными действиями устранил в Париже угрозу роялистского переворота.

¹⁷ «...удар подготавливается теперь еще искуснее, чем на улице Сен-Никез». – На улице Сен-Никез 24 декабря 1800 г. было организовано покушение на Наполеона; оно потерпело неудачу.

– Вот уже два месяца, как консул, министр полиции, префект полиции и Фуше держат в своих руках часть нитей этого огромного заговора; но они еще не представляют себе его размах и пока что дают заговорщикам свободу, с тем чтобы вывести все.

– Что касается права, – заметил нотариус, – то у Бурбонов гораздо больше прав что-либо замышлять, затевать, осуществлять против Бонапарта, чем было у Бонапарта восемнадцатого брюмера, когда он посягнул на Республику, детищем которой был сам; он убивал родную мать, эти же хотят всего-навсего вернуться к себе домой. Видя, что в списки эмигрантов перестали заносить новые имена и все больше и больше имен из них исключается, что католическая церковь восстанавливается и один за другим издаются антиреволюционные законы, видя все это, принцы поняли, что возвращение их с каждым днем будет становиться все более затруднительным, чтобы не сказать невозможным. Основное препятствие к этому – Бонапарт, и они хотят это препятствие устранить, – вот и все. Потерпев поражение, заговорщики превратятся просто в разбойников; победив, они станут героями; поэтому твои колебания кажутся мне вполне естественными.

– Необходимо направить события так, – сказал Мален, – чтобы Бонапарт, в виде вызова, бросил Бурбонам голову герцога Энгиенского, подобно тому как Конвент бросил европейским монархам голову Людовика Шестнадцатого. Это сделает Бонапарта таким же участником Революции, какими являемся и мы; или же свергнуть нынешнего идола французского народа, который вот-вот станет императором, и на обломках его трона восстановить трон законного монарха. Я завишу от случая, от меткого пистолетного выстрела, от адской машины, вроде той, что была заложена на улице Сен-Никез, – нужно только, чтобы она взорвалась. Мне всего не сказали. Мне предложили в критический момент созвать Государственный совет и руководить юридической стороной реставрации Бурбонов.

– Повремени, – отозвался нотариус.

– Это невозможно. Я должен принять решение теперь же, время не терпит.

– Почему?

– Двое Симезов участвуют в заговоре; они скрываются здесь. Я должен либо распорядиться, чтобы за ними установили слежку, дать им скомпрометировать себя и затем от них избавиться, либо тайно взять их под свою защиту. Я просил, чтобы ко мне прикомандировали мелких агентов, а мне навязали первоклассных сыщиков, и они нарочно заехали в Труа, чтобы заручиться помощью жандармерии.

– Гондревиль – синица в руках, а заговор – журавль в небе, – возразил Гревен. – Ни Фуше, ни Талейран, твои соратники, в заговоре не участвуют; с ними тебе надо играть в открытую. Подумай только: все, кто отрубил голову Людовику Шестнадцатому, – члены правительства, Франция полна людей, скупивших государственные земли, а ты затеваешь возвращение тех, кто потребует у тебя вернуть Гондревиль. Если Бурбоны не дураки, им придется отменить все, что было сделано нами. Лучше скажи Бонапарту.

– Человек моего ранга не может быть донощиком, – запальчиво возразил Мален.

– Твоего ранга? – воскликнул Гревен, улыбнувшись.

– Мне предлагают Министерство юстиции.

– Ты ослеплен, – понимаю. Значит, на мне лежит обязанность осмотреться в этих политических потемках, нюхом найти выход. Между тем нет никакой возможности предвидеть, какие события могли бы вернуть Бурбонов, если такой полководец, как Бонапарт, располагает восьмьюдесятью кораблями и четырехсоттысячной армией. Самое трудное в выжидательной политике – это предугадать, когда пошатнувшаяся власть падет; а власть Бонапарта, друг мой, находится в стадии укрепления. Не Фуше ли решил тебя позондировать, чтобы вывести твои затаенные мысли и от тебя избавиться?

– Нет; в посреднике, с которым я имею дело, я не сомневаюсь. К тому же сам Фуше никогда бы не подослал ко мне этих двух обезьян: я их слишком хорошо знаю, чтобы не насторожиться.

– А меня они пугают, – сказал Гревен. – Если Фуше не сомневается в тебе, не хочет тебя испытать – зачем же он их тебе навязал? Фуше не выкинет такой штуки без причины...

– Вот это для меня очень веский довод, – воскликнул Мален, – и с этими двумя Симе-зами я никогда не буду спокоен; быть может, Фуше, знающий мое положение, не хочет их упустить и думает через них добраться до Конде?

– Эх, старина, при Бонапарте не будут беспокоить владельца Гондревия.

Подняв голову, Мален увидел в густой листве липы ствол ружья.

– Я не ошибся: я слышал сухое щелканье взведенного курка, – сказал он Гревену, прячась за толстым деревом; нотариус, встревоженный внезапным движением своего друга, последовал его примеру.

– Это Мишю, – шепнул Гревен, – я вижу его рыжую бороду.

– Не надо показывать, что мы испугались, – заметил Мален; он неторопливо пошел прочь, несколько раз повторив в раздумье: «Что ему нужно от тех, кто приобрел это имение? Ведь не в тебя же он метил. Если он слышал наш разговор, придется за него взяться! Надо было бы пойти в луга. Но мне и на ум не приходило, что даже воздух может таить в себе опасность».

– На всякую старуху бывает проруха, – ответил нотариус. – Но пустяки, он был очень далеко, а мы говорили шепотом.

– Надо будет рассказать Корантену, – ответил Мален.

Несколько минут спустя Мишю вернулся домой; он был бледен, лицо его искажено.

– Что с тобой? – испуганно спросила Марта.

– Ничего, – ответил он, увидев Виолета, присутствие которого поразило его как громом.

Мишю взял стул, спокойно сел у очага и бросил в огонь какую-то бумажку, которую он вынул из жестяной коробки, – такие коробки дают солдатам для хранения документов. Заметив это, Марта вздохнула, как человек, освободившийся от тяжелого гнета; зато Виолет был сильно озадачен. Управляющий с неподражаемым хладнокровием прислонил карабин к очагу. Марианна и мать Марты пряли при свете лампы.

– Ну-ка, Франсуа, спать! – сказал отец. – Сейчас же ложись!

Он грубо схватил сына и унес его.

– Сходи в погреб, – шепнул он ему, когда вышел на лестницу, – возьми две бутылки маконского вина, отлей из них по трети и добавь коньячной настойки, которая стоит на полке; потом нацеди полбутылки белого вина и подмешай туда водки. Сделай все это половчей и поставь все три бутылки на пустой бочонок у входа в погреб. Когда я открою окошко, выйди из погреба, оседлай мою лошадь и поезжай на ней в Пото-де-Ге. Жди меня там.

– Мальчишка никогда вовремя не ложится, – сказал управляющий, возвратясь на кухню, – все хочет быть как взрослые, хочет все видеть, все слышать, все знать. Вы у меня тут весь народ перепортите, папаша Виолет.

– Господи! Господи! – воскликнул Виолет. – Что это как у вас язык развязался? Я и не знал, что вы такой речистый.

– А вы воображали, что за мной можно шпионить и я этого не замечу? Ошибаетесь, папаша Виолет. Если бы, вместо того чтобы угождать моим врагам, вы стали на мою сторону, я сделал бы для вас кое-что поважнее, чем продление аренды...

– А что такое? – насторожился жадный крестьянин, вытаращив глаза.

– Я бы продал вам по дешевке все свое добро.

– Когда надо платить, дешевки не бывает, – глубокомысленно изрек Виолет.

– Я собираюсь уехать из здешних мест и уступил бы вам ферму в Муссо, службы, посевы, скот – все гуртом за пятьдесят тысяч.

– В самом деле?

– Подходит вам?

– Черт возьми, надо еще подумать.

– Ну, давайте потолкуем... Но мне нужен задаток.

– А у меня ни гроша.

– Дайте слово.

– Это извольте.

– Скажите: кто вас сюда подослал?

– Просто я возвращался оттуда, куда ездил, и завернул к вам, повидаться.

– Возвращался пешечком? Ты что же, за дурака меня принимаешь? Врешь – так фермы моей не получишь.

– Ну... господин Гревен меня послал – вот и все. «Сходи, говорит, за Мишю, он нам нужен. А не застанешь – так подожди». Я и понял, что, значит, нынче мне надо просидеть здесь вечерок.

– А парижские франты всё еще в замке?

– Вот уж не знаю; но в гостиной там кто-то был.

– Ну, получишь ферму. Поговорим толком. Жена, сходи-ка за вином, чтобы spraysнуть наш уговор. Возьми лучшего, руссильонского, из погребов бывшего маркиза... Мы не дети, толк в вине знаем. На пустой бочке, у входа, стоят две бутылки, да прихвати еще бутылочку белого.

– Вот это дело, – сказал Виолет, никогда не пьяневший. – Выпьем!

– У вас пятьдесят тысяч спрятано под половицами в вашей комнате, на том месте, где кровать. Вы уплатите их мне через две недели после заключения купчей у Гревена...

Виолет с изумлением уставился на Мишю и побледнел.

– А-а, вздумал шпионить за отъявленным якобинцем, который имел честь председательствовать в арсийском клубе, и ты воображаешь, что он тебя не раскусит? Я не слепой, я заметил, что у тебя плиты в полу только что заделаны, я и решил, что ты вынимал их, и, уж, конечно, не для того, чтобы посеять там пшеницу. Выпьем!

Виолет был так ошеломлен, что осушил большой стакан, не обращая внимания на вкус вина: от страха у него горело в желудке, словно там было раскаленное железо; а присущая ему жадность не давала захмелеть. Он многое дал бы, чтобы очутиться дома и спрятать кубышку в другое место. Все три женщины улыбались.

– Так по рукам? – спросил Мишю, наливая ему еще стакан.

– Что ж, по рукам!

– Станешь хозяином, старый плут!

После того как они с полчаса оживленно проспорили о сроке передачи имущества, о бесконечных мелочах, как спорят крестьяне, когда заключают сделку, после множества заверений, опорожненных стаканчиков, всяческих обещаний, препирательств, бесчисленных: «Понимаешь? Вот те крест! Истинное слово! Уж я сказал – значит, твердо! Да провалиться мне на месте, если я!.. Чтоб мне ни дна ни покрышки, коли это не истинная правда!» – Виолет наконец склонился головою на стол – он был уже не навеселе, а просто мертвецки пьян; как только Мишю заметил, что у старика помутился взор, он поспешил растворить окошко.

– Где подлец Гоше? – спросил он у жены.

– Спит.

– Ты, Марианна, – обратился управляющий к своей верной служанке, – сядь у его двери и сторожи его. Вы, матушка, – сказал он, – оставайтесь внизу, следите за этим сыщи-

ком; будьте начеку и не отпирайте двери никому, кроме одного Франсуа. Дело идет о жизни и смерти! – добавил он глухим голосом. – Для всех, живущих под моим кровом, я в эту ночь никуда не отлучался; вы должны это твердить даже на плахе. Пойдем, мать, – сказал он жене, – пойдем; обуйся, надень чепец, – скорей! Без расспросов! Я иду с тобой.

За последние три четверти часа у этого человека в движениях, во взгляде появилась деспотическая и неотразимая властность, почерпнутая из того общего, хоть и неведомого источника, откуда черпают свою непостижимую силу и великие полководцы, воодушевляя войска на полях сражений, и великие ораторы, увлекающие массы на собраниях, а также, надо сказать, и великие преступники в своих дерзких делах. Тогда какое-то необоримое влияние как бы излучается из такого человека, насыщает его слова, а жесты словно подчиняют его воле волю окружающих. Все три женщины чувствовали, что наступил некий роковой и страшный час; они не знали ничего определенного, но что-то угадывали по стремительной решимости этого человека; лицо его сверкало, черты были полны выразительности, глаза горели, как звезды; на лбу выступили капли пота, голос не раз пресекался от нетерпения и гнева. И Марта безмолвно повиновалась. Вооружившись до зубов, с ружьем на плече, Мишю юркнул в аллею, жена последовала за ним, и они быстро достигли перекрестка, где в кустах притаился Франсуа.

– Толковый малый, – сказал Мишю, увидев сына.

Это были первые произнесенные им слова. Супруги так бежали сюда, что им было не до разговоров.

– Возвращайся к дому, залезь на самое густое дерево, следи за округой, за парком, – сказал он сыну. – Мы все спим, никого в дом не пускаем, одна бабушка не спит, но она откликнется только на твой голос. Запомни, что я говорю, – до самых мелочей. Речь идет о жизни твоего отца и матери. Судейские ни в коем случае не должны узнать, что нас не было дома.

Когда мальчик после этих слов, сказанных ему на ухо, скользнул в лес, словно угорь в речной ил, Мишю приказал жене:

– На коня! И моли Бога, чтобы он не оставил нас! Ухватись за меня покрепче! Ведь лошадь может и не выдержать!

Едва Мишю проговорил это, как лошадь, получив в бока два сильных удара ногами и сдавленная могучими коленями седока, понеслась во весь опор; животное, казалось, угадало своего хозяина; за какие-нибудь четверть часа лес остался позади. Мишю, выбиравший все время самую короткую дорогу, выехал на опушку, откуда были видны освещенные луною башни сен-синьского замка. Он привязал коня к дереву и поспешил взобраться на холмик – с него открывался вид на всю сен-синьскую долину.

Замок, на который Марта и Мишю смотрели несколько мгновений, производит среди этого ландшафта чарующее впечатление. Пусть он не замечателен ни размерами своими, ни архитектурой, все же он не лишен некоторой археологической ценности. Это старинное здание XV века построено на пригорке и опоясано широким и глубоким рвом, еще наполненным водой; оно сложено из булыжника, но ширина его стен достигает семи футов. Простота его красноречиво повествует о суровой и воинственной жизни феодальных времен. Этот поистине первобытный замок состоит из двух обширных красноватых башен, соединенных длинной вереницей жилых помещений с окнами, каменные переплеты которых напоминают грубо высеченные виноградные лозы. В замок ведет наружная лестница, построенная посередине здания; она заключена в пятиугольную башню с маленькой дверцей под остроконечной аркой. Нижний этаж, переделанный внутри при Людовике XIV, а также второй – увенчаны огромными крышами, которые прорезаны окнами с лепными фронтонами. Перед замком – широкая лужайка, на которой недавно срубили деревья. По сторонам въездного моста расположены две сторожки, в которых живут садовники; домики отделены

друг от друга жиденькой и простой, по-видимому современной, оградой. Справа и слева от лужайки, разделенной пополам мощеной дорожкой, находятся конюшни, хлевы, амбары, сарай, пекарня, курятники, людские; все это помещается, как видно, в развалинах двух флигелей, некогда составлявших одно целое с нынешним замком. В стародавние времена этот замок, вероятно, был квадратным и укрепленным с четырех углов; его охраняла огромная башня со сводчатым крыльцом, у подножья которой, на месте теперешней решетки, был подъемный мост. Две толстые башни, конусообразные крыши которых сохранились, и вышка средней башни придавали всей усадьбе своеобразный вид. Колокольня такой же древней церковки возвышалась в нескольких шагах от замка и вполне гармонировала с ним. Лунный свет играл, сверкая и переливаясь, на всех его крышах и башнях. Мишю смотрел на это барское жилище с таким выражением, которое совершенно сбilo с толку жену: лицо его стало спокойнее, выражало надежду и какую-то гордость. Он окинул пристальным взором горизонт, прислушался к тишине; было часов девять, лунный свет заливал опушку леса, холм же был освещен особенно ярко. Это, видимо, показалось Мишю опасным; он спустился вниз, вероятно, боясь, что его увидят. Между тем ни единый подозрительный звук не нарушал безмолвия прекрасной долины, опоясанной с этой стороны Нодемским лесом. Трепещущая, разбитая усталостью Марта с нетерпением ждала, что после столь необычной скачки наконец наступит какая-то развязка. Чему ей приходится служить? Доброму ли делу или преступлению? В эту минуту Мишю склонился к уху жены.

– Ступай к графине де Сен-Синь, скажи, что тебе необходимо переговорить с ней; когда она появится, отведи ее в сторонку. Если ты убедишься, что никто не может вас услышать, скажи ей: «Мадмуазель, жизнь ваших двоюродных братьев в опасности. Человек, который объяснит вам, как и почему, – ожидает вас». Если она испугается, если не поверит, скажи: «Они участвуют в заговоре против первого консула, а заговор раскрыт». Себя не называй, – нам ведь не доверяют.

Марта взглянула на мужа и спросила:

– Значит, ты на их стороне?

– Ну так что же? – ответил Мишю насупившись; он принял это за упрек.

– Ты не понял меня! – воскликнула Марта, схватила широкую руку мужа и бросилась перед ним на колени; она припала к его руке, целуя ее и заливая слезами.

– Беги, поплачешь потом, – сказал он и обнял ее в бурном порыве.

Когда шаги Марты совсем затихли, у этого железного человека показались слезы на глазах. Он сомневался в Марте, зная убеждения ее отца; он оберегал от нее свои тайны; но тут благородный и цельный характер жены внезапно раскрылся перед ним, так же как и величие его характера только что предстало перед нею. От чувства глубокой униженности, которое вызывается падением человека, чье имя ты носишь, Марта перешла к восторгу, внушаемому его славой; и переход этот совершился столь мгновенно, что было от чего закружиться голове. Терзаемая страшным волнением, она – как сама потом ему призналась – шла от их дома до замка словно по терниям, но теперь ей казалось, будто она вдруг вознесена на небо и пребывает там в сонме ангелов. А он-то всегда думал, что ей не дорог: ее грусть и замкнутость он принимал за недостаток любви, редко бывал дома, предоставлял ее самой себе и всю свою нежность обратил на сына; теперь же он вдруг понял, что означали слезы этой женщины: она проклинала роль, которую ей навязали ее красота и отцовская воля. И вот в самый разгар грозы счастье блеснуло перед ними, словно молния своим чудеснейшим огнем. И оно действительно промелькнуло молнией! Каждый из них думал о десяти годах взаимного непонимания, и каждый винил в этом себя одного. Мишю стоял неподвижно, опершись на карабин и положив голову на руку, в глубоком раздумье. Подобные минуты искупают все горести даже самого горестного прошлого.

В голове Марты проносились тысячи мыслей, схожих с теми, что волновали ее мужа, и сердце ее сжималось от сознания опасности, нависшей над Симезами, ибо она поняла все, даже кто эти двое парижан; лишь одного она никак не могла уразуметь: зачем мужу понадобился карабин? Она понеслась, как лань, и вскоре вышла на дорогу, ведущую к замку; вдруг ей послышались сзади мужские шаги, она вскрикнула, но широкая ладонь Мишю тотчас же закрыла ей рот.

— С холма я заметил, как вдали сверкнули серебряные галуны на шапках. Войди через брешь у рва, между конюшнями и башней Барышни; собаки на тебя не залают. Пробрерись в сад, кликни молодую графиню в окно, скажи, чтоб она велела оседлать лошадь да чтоб вывела ее в ров. Я буду там; но сначала я разузнаю, что замышляют парижане, и придумаю, как бы от них ускользнуть.

Опасность надвигалась с быстротой лавины, ее надо было предотвратить во что бы то ни стало, и это окрылило Марту.

Франкское имя, общее Сен-Синям и Шаржбефам, — Дюинеф. Сен-Синь стало прозвищем младшей линии Шаржбефов после того, как однажды, в отсутствие отца, пять его дочерей, все на редкость белокурые, защитили родительский замок, чего от них никак нельзя было ожидать. И вот один из первых графов Шампанских пожелал с помощью этого красивого прозвища сохранить память о знаменательном событии на все то время, пока будет существовать их род. После этого своеобразного воинского подвига все девушки в семье были преисполнены гордости, хотя, пожалуй, и не все были белокуры. Последняя из них, Лоранса, являлась, вопреки салическому закону¹⁸, наследницей и титула, и герба, и ленных владений. Король Франции подтвердил указ графа Шампанского, по которому титул и имущество могли передаваться в этой семье и по женской линии. Следовательно, Лоранса была графиней де Сен-Синь, а будущий муж ее должен был принять ее имя и герб; на гербе этом значились в виде девиза вдохновенные слова, сказанные старшей из пяти сестер в ответ на требование сдаться: *Умрем с песнею!* Лоранса, достойная этих прекрасных героинь, отличалась особой белизной, которая казалась печатью судьбы. Под ее тонкой и упругой кожей просвечивали мельчайшие голубые прожилки. Пышные белокурые волосы чудесно гармонировали с ее темно-синими глазами. Все в ней пленяло. Но в этой хрупкой девушке с тонким станом и молочно-белым лицом жила душа бесстрашная, как душа мужчины, одаренного сильным характером; однако никто, даже самый проникательный наблюдатель, не разгадал бы сущности этой девушки при виде ее кроткого, слегка удлинненного лица, в профиль смутно напоминавшего профиль ягненка. Ее исключительная кротость, хоть и полная благородства, казалось, доходила до глупости овечки. «Я похожа на задумавшегося барана», — иногда говорила она шутя. Лоранса была неразговорчива и казалась не то чтобы мечтательной, но какой-то вялой. Однако стоило произойти чему-нибудь исключительному, как таившаяся в ней Юдифь сразу же пробуждалась во всем своем величии, — а таких случаев, к несчастью, в жизни Лорансы было немало. В тринадцать лет, после уже известных событий, она осталась сиротою в городе, где еще накануне высылось одно из самых замечательных зданий XVI века — особняк Сен-Синей. Господин д'Отсэр, ее родственник, назначенный ее опекуном, поспешил увезти наследницу в деревню. Этот достойный дворянин-провинциал был страшно напуган смертью своего брата, аббата д'Отсэра, которого наповал сразила пуля в ту минуту, когда, переодевшись крестьянином, он собирался бежать. Опекун не имел возможности защитить интересы своей питомицы: двое его сыновей находились в армии принцев, и каждый день, при малейшем шуме, ему чудилось, что арсийские власти идут арестовать его. Гордая тем, что она выдержала осаду и что природа наделила ее истори-

¹⁸ «...вопреки салическому закону...» — По этому древнему закону наследование земель и связанных с ними титулов происходило только по мужской линии.

ческой белизной предков, Лоранса презирала мудрую робость старого дворянина, надломленного пронесившейся бурей; она думала только о славе. И она смело повесила в убогой гостиной Сен-Синя портрет Шарлотты Кордэ¹⁹, увенчав его гирляндой из мелких дубовых веток. При посредстве верного человека она вела переписку с близнецами, невзирая на закон, который грозил за это смертной казнью. Посланец, тоже рисковавший жизнью, доставлял ей ответы. Со времени трагедий, разыгравшихся в Труа, Лоранса жила лишь ради торжества монархии. Здравомысляв в характерах г-на д'Отсэра и его жены, она убедилась, что это люди безупречно честные, но слабые, и исключила их из круга своих интересов; Лоранса была слишком умна и по-настоящему добра, чтобы осуждать их за нерешительный характер; она обходилась с ними ласково, мягко, сердечно, но не посвящала их ни в одну из своих тайн. Ничто так не развивает выдержку, как необходимость постоянно скрытничать в своем семейном кругу. Достигнув совершеннолетия, Лоранса предоставила старичку д'Отсэру ведать ее делами и впредь. Лишь бы хорошо ухаживали за ее любимой лошадью, лишь бы горничная Катрина была одета со вкусом, а грум Готар опрятен, все прочее мало тревожило графиню. Ее помыслы были направлены к слишком возвышенной цели, чтобы она снисходила до таких дел, которые в иные времена, несомненно, занимали бы ее. К нарядам она была вполне равнодушна, да ведь и кузенов не было подле нее. У Лорансы была зеленая амазонка для прогулок верхом, простое платье с безрукавкой, расшитой позументом, для прогулок пешком да шелковое домашнее платье. Маленький грум Готар, ловкий и отважный пятнадцатилетний паренек, всегда сопровождал ее, а она почти не бывала дома; она охотилась на всех гондревильских угодьях, и ни арендаторы, ни Мишю никогда не возражали против этого. Она превосходно ездила верхом, а на охоте показывала чудеса ловкости. Во всей округе ее всегда, даже в годы Революции, звали просто Барышней.

Всякому, кто читал прекрасный роман «Роб Рой», несомненно, запомнился образ, создавая который Вальтер Скотт преодолел свою обычную холодность: это образ Дианы Вернон. Воспоминание о ней поможет понять Лорансу, если к чертам, присущим шотландской охотнице, вы добавите сдержанную вдохновенность Шарлотты Кордэ и в то же время исключите милую живость, которая придает Диане такое обаяние. Молодая графиня была свидетельницей смерти своей матери, убийства аббата д'Отсэра, гибели на эшафоте маркиза де Симеза и его жены, ее единственный брат умер от ран, два кузена, служившие в армии Конде, могли быть убиты в любую минуту; наконец, состояние Симезов и Сен-Синей было поглощено Революцией, притом без малейшей пользы для последней. Поэтому нам должна быть понятна постоянная сумрачность Лорансы, принявшая видимость какого-то оцепенения.

Впрочем, господин д'Отсэр проявил себя честнейшим и осведомленнейшим опекуном. В его руках Сен-Синь стал похож на ферму. Старик этот, гораздо более напоминавший рачительного землевладельца, чем рыцаря, сумел извлечь доход и из парка и из садов, которые занимали почти двести арпанов; они давали корм лошадям и пищу людям, давали и дрова. Благодаря его строжайшей экономии и помещенным в государственную ренту сбережениям, молодая графиня ко времени своего совершеннолетия оказалась обладательницей довольно крупного состояния. В 1798 году наследница располагала двадцатью тысячами франков годового дохода с государственной ренты – правда, поступавшими весьма неаккуратно – да двенадцатью тысячами франков дохода с сен-синьских земель, договоры на которые были возобновлены со значительным увеличением арендной платы. Супруги д'Отсэры уехали в деревню, располагая тремя тысячами пожизненной ренты с капитала, внесенного в контору Лафаржа: на эти уцелевшие крохи они могли жить только в Сен-Синь; поэтому Лоранса прежде всего предоставила им в пожизненное пользование флигель, который они

¹⁹ Шарлотта Кордэ – убийца Марата.

там занимали. Супруги д'Отсэры, откладывая по тысяче экю в год для сыновей, стали и в отношении своей подопечной такими же скупыми, какими были к самим себе, и не баловали наследницу. Общий расход в Сен-Сине не превышал пяти тысяч франков в год. Но Лоранса, не входившая ни в какие мелочи, была всем довольна. Опекун и его жена незаметно подпали под влияние характера Лорансы, который сказывался даже в самых незначительных мелочах, и, что наблюдается довольно редко, в конце концов стали даже восхищаться этой девушкой, знакомой им еще с младенчества. Но в манерах Лорансы, в ее низком грудном голосе, в ее повелительном взгляде было что-то незаурядное, какая-то необъяснимая властность, которая всегда покоряет, даже если она только видимость, ибо глупцам пустота часто представляется глубокомыслием. Для людей рядовых глубокомыслие всегда непостижимо. Быть может, этим объясняется преклонение толпы перед всем, что ей непонятно. Супруги д'Отсэр, удивлявшиеся неизменной молчаливости и нелюдимости молодой графини, всегда ожидали от нее чего-то исключительного. Делая добро обдуманно и не поддаваясь на обман, Лоранса заслужила искреннее уважение крестьян, хоть и была аристократкой. Ее пол, семья, пережитые несчастья, необычный образ жизни – все это способствовало ее авторитету у жителей сен-синьской долины.

Иногда она в сопровождении Готара исчезала на день-два, но ни господин д'Отсэр, ни его супруга никогда не расспрашивали ее о том, куда она ездила. Заметьте, что у Лорансы не было никаких странностей. Воительница скрывалась в ней под самой женственной и хрупкой на вид оболочкой. Сердце у нее было весьма чувствительное, но образ мыслей отличался мужественной решимостью и стоической твердостью. Ее прозорливые глаза не знали, что такое слезы. Глядя на кисть ее руки, белую и нежную, с голубыми прожилками, никто не подумал бы, что эта девушка может поспорить с самым ловким кавалеристом. Эта ручка, такая мягкая, такая тонкая, владела пистолетом и ружьем не хуже опытного охотника. Вне дома Лоранса всегда носила обычную для амазонок кокетливую кастановую шляпу со спущенным зеленым вуалем; поэтому на ее нежном лице и белой шее, закрытой черным шарфом, не сказывалось слишком долгое пребывание на свежем воздухе. При Директории и в начале Консульства она могла вести такой образ жизни, не привлекая ничьего внимания; но с тех пор как государственная власть начала крепнуть, новые должностные лица – префект департамента Об, друзья Малена и сам Мален – пытались подорвать уважение к девушке, Лоранса только и помышляла о свержении Наполеона, притязания и торжество которого вызвали в ней своего рода ярость, но ярость хладнокровную и целеустремленную. Она, незаметный и неведомый враг этого человека, осененного славою, целилась в него из глуши своих долин и лесов с зловещей пристальностью; иной раз ей трудно было владеть собою; она готова была уехать отсюда и где-нибудь в окрестностях Сен-Клу или Мальмезона убить его. Осуществление этого замысла вполне оправдало бы ее привычки и образ жизни; но со времени разрыва Амьенского мирного договора она была посвящена в намерения заговорщиков, целью которых было обратить 18 брюмера против первого консула, и с тех пор подчинила свою ненависть и силы обширному и превосходно осуществлявшемуся плану; согласно последнему, Наполеону должен быть нанесен удар извне – могучей коалицией России, Австрии и Пруссии, коалицией, которую он, став императором, разгромил при Аустерлице, – и изнутри, при помощи союза людей самых различных взглядов, но объединенных общей ненавистью, причем многие из них, подобно Лорансе, обдумывали, как устранить этого человека, не останавливаясь и перед тем, что называют словом «убийство». Таким образом, эта девушка, столь хрупкая на вид и столь сильная в глазах тех, кто ее хорошо знал, служила в настоящее время верным и надежным посредником для дворян, пробравшихся на родину из Германии, чтобы принять участие в упомянутом опасном предприятии. Фуше воспользовался союзом зарейнских эмигрантов для того, чтобы запутать в их заговор герцога Энгиенского. Пребывание этого принца на территории Бадена, непо-

далеку от Страсбурга, впоследствии придавало убедительность подозрениям Фуше. Главный вопрос – действительно ли герцог был посвящен в этот заговор, действительно ли он должен был, в случае удачи, появиться во Франции – остается тайною, относительно которой, как и относительно некоторых других, принцы из семьи Бурбонов хранили глубочайшее молчание. Но когда история этой эпохи начнет стареть и отходить в прошлое, беспристрастные историки назовут по меньшей мере неосторожностью появление герцога вблизи границы как раз в тот момент, когда должен был осуществиться грандиозный заговор, в тайну которого королевская семья была бесспорно посвящена. Ту осторожность, которую проявил Мален, удалившись для переговоров с Гревеном на лесную полянку, Лоранса вносила во все свои мельчайшие дела. Она принимала представителей, совещалась с ними либо где-нибудь на опушке Нодемского леса, либо по ту сторону сен-синьской долины, между Сезанной и Бриенной. Иной раз она, в сопровождении Готара, могла проскакать сразу пятнадцать лье, причем, когда она возвращалась в Сен-Синь, на ее свежем лице не было и тени усталости или озабоченности. Однажды она заметила в глазах у этого пастушка, тогда еще десятилетнего мальчика, то простодушное восхищение, которое у детей вызывается всем необыкновенным; она взяла его себе в конюхи и научила ухаживать за лошадьми с той особой заботливостью и вниманием, как принято у англичан. Она обнаружила в нем старательность, понятливость и полное бескорыстие; она подвергла испытанию его преданность и убедилась, что он не только смышлен, но и благороден: он не допускал мысли о награде; Лоранса занялась воспитанием этой столь еще юной души, была к нему добра, царственно добра; она привязала его к себе и сама к нему привязалась, шлифуя это полудикое создание, но не лишая его ни самобытности, ни простоты. Когда она в достаточной мере проверила его почти собачью верность, которую сама же в нем воспитала, Готар стал ее хитрым и простодушным сообщником. Крестьянский паренек, которого никому не пришло бы в голову в чем-либо подозревать, ездил до самого Нанси, и иной раз никто не замечал его отсутствия. Он прилагал ко всем уловкам, применяемым лазутчиками. Крайняя недоверчивость, к которой его приучила хозяйка, ничуть не испортила его природы. Готар обладал одновременно и хитростью женщины, и наивностью ребенка, и неусыпной настороженностью заговорщика, но все эти драгоценные качества он прятал под маской глубоко невежественного и тупого деревенского парнишки. Этот мужичок казался придурковатым, хилым и неуклюжим, но как только надо было действовать, он становился увертливым, как рыба, ускользал, как угорь, понимал, как собака, с одного взгляда чужую мысль. Его добродушное широкое лицо, круглое и красное, сонные карие глаза, волосы, подстриженные по-крестьянски, одежда, небольшой рост – все придавало ему вид десятилетнего мальчика.

Господа д'Отсэры и де Симезы при содействии своей кузины, которая следила за их передвижением от Страсбурга до Бар-сюр-Об, пробирались в сопровождении еще нескольких эмигрантов через Эльзас, Лотарингию и Шампань, в то время как другие, не менее отважные заговорщики, высадились на французскую землю у скалистых берегов Нормандии. Переодевшись рабочими, д'Отсэры и Симезы шли лесами под руководством проводников, которые в течение последних трех месяцев были выбраны Лорансой в разных департаментах среди людей, наиболее преданных Бурбонам и в то же время наименее возбуждающих подозрения. Эмигранты спали днем и пускались в путь по ночам. При каждом из них было по два преданных солдата, из которых один шел впереди как разведчик, а второй следовал сзади, чтобы в случае беды прикрыть отступление. Благодаря этим военным предосторожностям отряд смельчаков благополучно достиг Нодемского леса, где была назначена встреча. Другие двадцать семь дворян пробрались из Швейцарии и прошли через Бургундию; их вели к Парижу с такими же предосторожностями. Г-н де Ривьер рассчитывал на пятьсот человек, в том числе на сто молодых дворян, предполагаемых офицеров этого священного отряда. Господа де Полиньяк и де Ривьер, как главари, вели себя в высшей сте-

пени достойно и сохранили в полнейшей тайне имена всех тех сообщников, которые так и не были обнаружены. И теперь можно утверждать, в согласии с разоблачениями, сделанными в годы Реставрации, что Бонапарт находился в таком же неведении о нависшей над ним грозной опасности, как и Англия, которая не понимала, что ей сулит расположившаяся в Булони армия; а между тем никогда еще полицией не управляли столь умные и ловкие люди. В тот момент, когда начинается эта история, некий трус, – а такой всегда найдется среди участников любого заговора, если их круг не ограничивается немногими людьми одинаковой душевной силы, – некий заговорщик, перед лицом смерти, дал показания, хотя, к счастью, и недостаточные, чтобы определить размах заговора, но достаточно ясные в отношении его цели. Поэтому-то полиция, как Мален и сказал Гревену, дала заговорщикам возможность действовать и ограничилась наблюдением за ними, намереваясь со временем захватить сразу все разветвления заговора. Однако правительство оказалось в известной мере вынужденным поспешить с принятием решительных мер, ибо Жорж Кадудаль, человек действия, который все решал самостоятельно, скрывался тогда в Париже с двадцатью пятью шуанами, готовясь к покушению на первого консула. В замыслах Лорансы ненависть сочеталась с любовью. Ведь уничтожить Бонапарта и восстановить Бурбонов значило вновь обрести Гондревиль и вернуть кузенам их благосостояние. Этих двух чувств, из которых одно является обратной стороной другого, достаточно, – особенно в двадцать три года, – чтобы пробудить и обострить все умственные способности и все жизненные силы. Поэтому в последние два месяца Лоранса казалась обитателям Сен-Синя красивей, чем когда-либо. Щеки ее порозовели, надежда порою придавала гордое выражение ее челу; но когда по вечерам при ней читали «Газету», где сообщалось о консервативных действиях первого консула, она опускала взор, чтобы в нем не прочли скорое и непреложное падение этого врага Бурбонов. Никому в замке и в голову не приходило, что минувшей ночью молодая графиня виделась со своими кузенами. Сыновья супругов д'Отсэров провели эту ночь ни более ни менее как в спальне графини, под одним кровом с родителями, ибо Лоранса, уложив двоих д'Отсэров, отправилась, чтобы не вызывать подозрений, между часом и двумя ночи на условленное место и, встретив там кузенов, отвела их в чащу леса, где и спрятала в покинутой хижине лесника. Она была так уверена, что вновь увидится с ними, что ничем не обнаружила своей радости; ничто не выдавало в ней тревоги ожидания; словом, она сумела сдержать малейшее проявление чувства и после того, как увиделась с ними, была невозмутимо спокойна. Красавица Катрина, ее молочная сестра, и Готар, оба посвященные в эту тайну, вели себя по примеру хозяйки. Катрине было девятнадцать лет. В этом возрасте девушки, как и юноши в возрасте Готара, бывают беззаветно преданны и готовы сложить голову на плахе, не проронив ни слова. Что же касается Готара, он лишь за то, чтобы вдохнуть запах духов, которым веяло от волос и платья графини, готов был вытерпеть самую страшную пытку.

Пока Марта, предупрежденная о неминуемой гибели, с быстротою тени скользила к брешу, следуя указаниям мужа, гостиная сен-синьского замка являла самую мирную картину. Собравшиеся здесь люди были так далеки от мысли о надвигавшейся буре, что их безмятежный вид вызвал бы невольную жалость у всякого, кто знал бы их истинное положение. В высоком камине, украшенном зеркалом, на раме которого танцевали пастушки в кринолинах, пылал огромный костер, какие разводят только в замках, расположенных на окраине лесов. Возле камина, в квадратном глубоком кресле, отделанном великолепным зеленым шелком и позолотой, отдыхала молодая графиня; поза ее говорила о крайней усталости. Лоранса только в шесть часов вернулась с границы провинции Бри; она ездила туда, чтобы выполнить роль разведчика и проводника для маленького отряда из четырех дворян и благополучно привести их в убежище, где им предстояло сделать последний привал перед тем, как пробраться в Париж; когда она вернулась, супруги д'Отсэры уже кончали обедать. Она настолько проголодалась, что села за стол, как была – в забрызганной грязью амазонке

и полусапожках. После обеда она почувствовала такое изнеможение, что не имела даже сил раздеться, а откинулась на спинку огромного кресла, прислонилась к ней белокурой головой в бесчисленных локонах и, вытянув ноги, положила их на скамеечку. Пламя камина сушило брызги грязи на ее амазонке и сапожках. Ее кожаные перчатки, касторовая шляпка, зеленый шарф и хлыст лежали на столике, куда она их бросила. Она то поглядывала на старинные часы Буль, стоявшие на каминной полке между двумя канделябрами, и соображала, улеглись ли уже четверо заговорщиков, то бросала взор на ломберный стол перед камином, за которым сидели г-н д'Отсэр, его супруга и сен-синьский кюре с сестрой.

Если бы даже эти люди не были непосредственными участниками описываемой нами трагедии, они заслуживали бы внимания как представители одной из разновидностей аристократии после ее разгрома в 1793 году. С этой точки зрения описание сен-синьской гостиной имеет прелесть исторической сценки, застигнутой врасплох.

Господин д'Отсэр, которому тогда шел пятьдесят второй год, высокий, сухопарый, румяный, обладавший крепким здоровьем, мог бы показаться чело­веком с сильным характером, если бы не большие темно-синие глаза, говорившие о крайнем его простодушии. Подбородок его выдавался вперед, а расстояние между носом и ртом было несоразмерно велико, и это придавало ему покорный вид, вполне соответствовавший его мирному характеру, о котором говорили и другие, даже мельчайшие черты его лица. Седые волосы, прямые шляпой, которую он почти никогда не снимал, образовали на голове нечто вроде ермолки и подчеркивали ее грушевидную форму. У него был плоский, невыразительный лоб, весь изрытый морщинами – результат деревенских трудов и постоянных тревог. Орлиный нос придавал некоторую значительность его лицу, единственным же признаком силы служили густые, еще черные брови и яркий румянец на щеках – и этот признак не обманывал; будучи простодушен и мягок, г-н д'Отсэр все же являлся непоколебимым католиком и монархистом, и никакие соображения не могли бы заставить его отказаться от своих взглядов. Он покорно дал бы себя арестовать, не стал бы стрелять в полицейских и безропотно взой­шел бы на эшафот. Он не мог эмигрировать, ибо, кроме ренты в три тысячи франков, не располагал никакими средствами к жизни. Поэтому он подчинялся существующему правительству, не переставая быть верным королевской семье и желать ее восстановления; но он не стал бы компрометировать себя участием в какой-либо попытке вернуть Бурбонов. Г-н д'Отсэр принадлежал к той части роялистов, которые до конца своих дней не могли забыть, что были побиты и ограблены, – они так и остались молчаливыми и расчетливыми, озлобленными и безвольными, но неспособными ни на отречение, ни на жертву; они всегда готовы были приветствовать монархию, если она восторжествует, сохраняли верность церкви и духовенству, но от своего решения покорно выносить все унижения и горести не отступались. А это уже не убежденность, а упрямство. Действие – основа всякой партии. Неумный, но честный, скупой, как крестьянин, и вместе с тем аристократ по манерам, смелый в своих желаниях, но скромный в речах и поступках, из всего извлекающий выгоду и даже готовый стать сен-синьским мэром, г-н д'Отсэр был типичным представителем тех почтенных дворян, на лбу которых бог начертал слово *mites*²⁰; они не препятствовали бурям Революции, пронесшимся над их головами и их дворянскими гнездами, воспрянули при Реставрации, богатые благодаря своим сбережениям и гордые своей тайной преданностью династии, а после 1830 года снова удалились в свои поместья. Его платье, очень характерное для такого рода людей, красноречиво говорило и о нем самом, и об эпохе. Г-н д'Отсэр носил широкий плащ орехового цвета, с небольшим колетом, введенный в моду последним герцогом Орлеанским после его возвращения из Англии; во время Революции такие плащи являлись чем-то промежуточным между неказистой простонародной

²⁰ Смирные, покорные (лат.).

одеждой и изящными сюртуками аристократии. Бархатный жилет в полоску и с цветочками, покрой которого напоминал жилеты Робеспьера и Сен-Жюста, оставлял на виду верхнюю часть жабо в мелких складочках, покоящегося на сорочке. Он все еще носил короткие панталоны, но они у него были из грубого синего сукна, с потемневшими стальными пряжками. Дешевые черные шелковые чулки обтягивали его тонкие, как у лани, ноги в грубых башмаках и черных суконных гетрах. Он по старинке носил муслиновый воротничок в бесчисленных складочках, скрепленный у подбородка золотой пряжкой. Таким платьем, сочетавшим в себе элементы крестьянской, революционной и аристократической одежды, этот безобидный дворянин вовсе не хотел выказать какой-то политический эклектизм, он просто-напросто подчинялся обстоятельствам.

Его жена, сорокалетняя женщина, с поблекшим лицом, рано состарившаяся от житейских невзгод, всегда словно позировала для портрета, а кружевной чепец, украшенный белыми атласными бантами, как бы подчеркивал торжественное выражение ее лица. Она еще пудрила волосы, хоть и носила белую косынку и шелковое платье цвета блошиной спинки, с гладкими рукавами и очень широкой юбкой – последний траурный наряд королевы Марии-Антуанетты. У нее был слегка вздернутый нос, острый подбородок, лицо почти треугольное, заплаканные глаза; но она «чутьочку» румянилась, и это оживляло ее серые глаза. Она нюхала табак и при каждой понюшке принимала те жеманные предосторожности, которыми некогда злоупотребляли светские модницы; это была целая церемония, но все ее ужимки при этом объяснялись очень просто: у нее были красивые руки.

Аббат-францисканец по имени Гуже, бывший воспитатель двух молодых Симезов и друг аббата д'Отсэра, два года тому назад из расположения к д'Отсэрам и к молодой графине избрал себе в качестве убежища сен-синьский приход. Его сестра, мадмуазель Гуже, располагавшая рентой в семьсот франков, присоединяла эти деньги к скромному жалованью священника и вела его хозяйство. Ни церковь, ни церковный дом не были проданы ввиду их ничтожной ценности. Аббат Гуже жил в двух шагах от замка, ибо местами сад при доме священника и господский парк отделялись друг от друга только оградой. Поэтому аббат Гуже с сестрою два раза в неделю обедали в Сен-Сине и каждый вечер приходили поиграть с д'Отсэрами в карты. Лоранса же и взять карты в руки не умела. Аббат Гуже был седовласый старец с белым, как у пожилой женщины, лицом, любезной улыбкой, ласковым и вкрадчивым голосом; его приторное, немного кукольное лицо значительно выигрывало от высокого, умного лба и проницательных глаз. Он был среднего роста, хорошо сложен, всегда носил черный фрак французского покроя, серебряные пряжки на панталонах и башмаках, черные шелковые чулки, черный жилет, на который ниспадал белый воротничок, что придавало старику изящество, не нарушая притом его пастырского достоинства. Этот аббат, назначенный при Реставрации епископом Труа, благодаря своей прошлой деятельности научился разбираться в молодых людях; он понял всю силу характера Лорансы, оценил его и сразу же стал относиться к девушке с почтительностью и уважением; а это в значительной мере помогло ей занять в Сен-Сине независимое положение и подчинить своей воле строгую пожилую даму и добряка-дворянина, которых она, конечно, по заведенному обычаю, должна была во всем слушаться. Уже полгода аббат наблюдал за Лорансой с присущей священникам зоркостью, ибо они – самые проницательные люди на свете; и, даже не подозревая о том, что эта двадцатитрехлетняя девушка, в ту самую минуту, когда ее слабые ручки теребят отпоротившийся позумент амазонки, помышляет о низвержении Бонапарта, он все же догадывался, что она поглощена каким-то большим замыслом.

Мадмуазель Гуже была одной из тех старых дев, портрет которых можно набросать в двух словах, и этого вполне достаточно, чтобы их могли себе представить даже люди с самой скудной фантазией: она принадлежала к тем, кого называют дылдами. Бедняжка сознавала, что уродлива, и первая же подтрунивала над своим безобразием, обнажая

при этом длинные зубы, желтые, как ее лицо, и костлявые руки. Но она была бесконечно добра и весела. Она носила чепец с лентами и накладку из волос, пресловутый казакин былых времен, широченную юбку с карманами, где вечно гремели ключи. Она еще в юности казалась сорокалетней, но, по ее словам, наверстывала упущенное и пребывала в этом возрасте уже лет двадцать. Дворянство она глубоко почитала, но, отдавая знатым людям то, что им полагалось в смысле уважения и знаков внимания, умела соблюсти и собственное достоинство.

Это общество пришлось в Сен-Синь очень кстати, ибо у г-жи д'Отсэр не было, как у ее мужа, хозяйственных забот или, как у Лорансы, той живительной ненависти, которая помогает выдерживать гнет одиночества. К тому же за последние шесть лет жизнь стала заметно легче. Католический культ был восстановлен, и это позволяло верующим выполнять религиозные обязанности, а в сельской жизни они занимают больше места, чем где бы то ни было. Супруги д'Отсэры, успокоенные консервативными действиями первого консула, могли теперь переписываться с сыновьями, знать об их судьбе, больше не дрожать за их жизнь, настаивать на том, чтобы они ходатайствовали об исключении их из списков эмигрантов и вернулись во Францию. Казначейство выплатило свою задолженность по ренте и стало производить очередные платежи в срок. К этому времени д'Отсэры располагали, кроме пожизненной ренты, еще восемью тысячами годового дохода. Старик радовался своей мудрой дальновидности: все свои сбережения – двадцать тысяч франков, равно как и деньги своей подопечной, – он поместил в государственную ренту еще до 18 брюмера, а этот переворот, как известно, вызвал повышение курса фондовых ценностей на двенадцать – восемнадцать франков.

Долгое время замок Сен-Синь оставался пустым, запущенным и разоренным. Пока бушевали революционные бури, осмотрительный опекун сознательно воздерживался от каких-либо починок; но после Амьенского мира он совершил поездку в Труа и привез оттуда остатки обстановки двух особняков, выкупленные им у старьевщиков. Тогда-то благодаря его заботам и была обставлена гостиная замка. Пышные шелковые занавеси с зелеными цветами по белому фону, висевшие раньше в особняке Симезов, теперь украшали шесть окон гостиной, где сидели в тот вечер вышеупомянутые лица. Эта огромная комната была вся отделана резным деревом в виде панно, обрамленных точеным багетом и выкрашенных в серый цвет двух оттенков. Четыре двери были расписаны в духе эпохи Людовика XV сценками, исполненными в серых тонах различных оттенков. Заботливый опекун разыскал в Труа золоченые кронштейны, кресло, обитое зеленым шелком, хрустальную люстру, ломберный стол с инкрустациями и другие предметы, которые могли послужить восстановлению Сен-Синя в прежнем виде. В 1792 году вся обстановка замка была расхищена, ибо разгром особняков в городах нашел свой отклик и в деревне. Каждый раз, как старик ездил в Труа, он возвращался с какими-нибудь реликвиями былого великолепия: то это был прекрасный ковер, вроде лежавшего сейчас на паркетном полу гостиной, то часть столового сервиза или отдельные предметы из старинного саксонского и северского фарфора. Полгода тому назад он решился откопать сен-синьское серебро, спрятанное поваром в его домике на самой окраине одного из обширных предместий Труа.

Этот преданный слуга, по имени Дюрие, и его жена навсегда связали свою судьбу с судьбой их молодой госпожи. Дюрие выполнял в замке самые различные обязанности, а жена его была ключницей. Дюрие взял себе в помощницы на кухню сестру Катрины; она изучала под его руководством кулинарное искусство и обещала стать превосходной поварихой. Если прибавить к ним старика садовника с женой, их сына, работавшего поденно, и дочь, служившую коровницей, – то вот и вся челядь замка. Полгода назад жена Дюрие тайком заказала для сына садовника и для Готара ливреи геральдических цветов графов де Сен-Синей. Хотя хозяин и разбранил ее за эту неосторожность, она была счастлива, что в день

святого Лорана, в именины Барышни, обед был подан почти как прежде. Постепенное восстановление былого, требовавшее не малых трудов, безмерно радовало господ д'Отсэров и супругов Дюрие. Лоранса посмеивалась над всем этим и называла ребячеством. Но старик д'Отсэр не забывал и о существенном: он восстанавливал строения, подправлял ограды, сажал деревья всюду, где только было возможно, и старался извлечь пользу из каждого клочка земли. Поэтому вся сен-синьская долина считала его своего рода чудодеем по части земледелия. Он ухитрился отхлопотать сто арпанов спорной земли, не проданной в свое время, а присоединенной к общинным владениям; он превратил эту землю в луга, посеяв кормовые травы, и обсадил их тополями, которые за шесть лет выросли на диво. Он намеревался выкупить и кое-какие другие участки и извлечь доход из всех призамковых строений, заведя вторую ферму, которой мечтал управлять самолично.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.